ГУСТАВ ШПЕТ

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК
МОСКВА — 1927

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВ

ВЫПУСК ВОСЬМОЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК

ГУСТАВ ШПЕТ

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА

(ЭТЮДЫ И ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ ГУМБОЛЬТА)

1927

BF
455
Ш72

Печатается по постановлению Ученого Совета Государственной Академии Художественных Наук.

Ученый Секретарь А. А. Сидоров.

7 мая 1927 г.

Ин-т Мировой лит-ры
БИБЛИОТЕКА
им. А.М. Горького АН СССР
25744/10
Фундаментальная
БИБЛИОТЕКА
Общественных Наук
Академии Наук СССР
367
57

Главлит № 85.301. Зак. № 940. Тираж 1000 экз.

Інтернациональная" (39-я) тип. Мосполиграфа. Б. Путинковский пер., д. 3.

Памяти
Максима Максимовича
Кенигсберга

Двумя обстоятельствами затруднялось до сих пор усвоение наукою общих лингвистических идей Гумбольта. Основная работа Вильгельма Гумбольта, излагающая его принципиальные взгляды на природу языка, была издана его братом после смерти автора,—знаменитое Введение к исследованию яванских языков: Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts, 1836. Она, следовательно, была лишена последней авторской редакционной заботы. А, может быть, как отмечает Дельбрюк, и возраст автора играл свою роль. Но только нельзя отрицать, что изложение у Гумбольта — трудное, спутанное и даже противоречивое [1]). Прав Дельбрюк, когда говорит, что здесь „собственные воззрения Гумбольта часто носятся скорее, как дух над водами, чем допускают облечение их в форму, не вызывающую недоразумений, пригодную для дидактической передачи“ (Vergl. Synt. I, 38).

Второе обстоятельство: Штейнталь, „ученик, истолкователь и продолжатель“ [2]), а также и популяризатор идей Гумбольта, по умственному складу, тенденциям и соответствию своей психологистически-нивелирующей эпохе, был менее всего призван к тому, чтобы найти адекватную форму для того „духа“, о котором говорит Дельбрюк[3]). Попытку Пота (A. F. Pott) вновь

[1]) Ср. также Steinthal, Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues, 1860, S. 27 ss., о трудности понимания Гумбольта и о его бессистемности вследствие противоречия между его эмпирическими воззрениями и априорными теориями.

[2]) Так характеризует себя Штейнталь сам — Ztschr. f. Völkerpsych. VIII, S. 219 ss.

[3]) Первое обстоятельное изложение учения Гумбольта Штейнталь дает в работе, направленной против сочинения Макса Шаслера (Die Elemente der philosophischen Sprachwissenschaft W. v. Humboldts) и носящей апологетический характер: Die Sprachwissenschaft W. v. Hum-

возбудить интерес к подлинному Гумбольту, переизданием его труда, можно назвать преждевременною для нас, но запоздалою для своего времени[1],— уже Уитней характеризовал отношение своего времени к Гумбольту, как такое, когда его „превозносят, не понимая и даже не читая" (St. on The Origin of Lang. 1872, p. 3).

С тех пор многое изменилось. Общие идеи Гумбольта приобретают для лингвистики значение принципов. Поэтому, их судьба связывается не только с историей самого языкознания, но и с судьбами философии. Тот возрождающий поворот в философии, который начался еще в конце прошлого века и который прекращал запальчивые, но безрезультатные метафизические

boldt's und die Hegel'sche Philosophie 1848; затем более критически — в Die Classification der Sprachen 1850 (сильно увеличенная переработка, по отношению к Гумбольту еще более критическая, — 1860 г. под заглавием Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues; морфологическая классификация языков Гумбольта, кажется, единственное, что стало достоянием всяких популяризаций, да и то, быть может, только потому, что была принята Шлейхером) и в статье Der Ursprung der Sprache 1851; специальное учение о внутренней форме излагается Штейнталем в его Grammatik, Logik und Psychologie usw. 1855 (против Бекера) и в измененном и переделанном виде в Abriss d. Sprachwissenschaften, 1., 1871 и 2. Aufl. 1881.— На русском языке некоторые идеи Гумбольта были популяризованы Потебнею, но также в штейнталевской интерпретации (ср. Мысль и язык, 3-е изд., стр. 23 прим.: „В изложении антиномий Гумбольта мы следуем Штейналю"); Мысль и язык Потебни печаталось в Ж. М. Н. П. в 1862 г., но действительную популяризующую роль начало играть только в наше время (2-е изд. 1912 г., 3-е 1913, и дал.). Статья П. И. Житецкого (В. Гумбольт в истории философского языкознания. Вопр. филос. и психол. 1900, кн. 1), пытавшаяся в самом начале нашего века вновь привлечь внимание к Гумбольту, более независима, но очень обща. Есть на русском языке и перевод сочинения Гумбольта, сделанный П. Билярским: „О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода", первоначально в Ж. М. Н. П. за 1858 и 59 г.г., а затем и отдельно, 1859 г.; этот несвоевременный перевод вышел у нас и неуместно, в качестве „учебного пособия по теории языка и словесности в военно-учебных заведениях"...

[1]) 1876 г. (вновь в 1883); это было второе самостоятельное издание Введения Гумбольта, если не считать VI тома (вышедшего в 1848 г), предпринятого в 1841 г. Александром Гумбольтом Собрания сочинений брата. Собственное Введение Пота к изданию, составившее томик в 400 с лишним страниц, своей мозаичною пестротою мало могло помочь в разъяснении того, что действительно трудно у Гумбольта. (В дальнейшем ссылки на Введение Гумбольта делаю по изданию Пота).

пререкания спиритуалистических, материалистических и монистических космологий, стал началом критического пересмотра прежних грандиозных философских построений с целью извлечения из них того, что в них было жизнеспособного, и развития его в положительном направлении. В связи с этим общим поворотом, внешним поводом для нового, внимательного изучения идей Гумбольта послужило, начатое в 1903 году Прусской Академией Наук, новое издание сочинений Гумбольта, вызвавшее уже ряд выдающихся исследований о разных частях его учения. Ныне нужно радикально изменить суждение Уитнея и признать, что только „не понимая и даже не читая“ можно было бы зачислять Гумбольта в разряд писателей, чье мнение потеряло значение для современной науки.

Нижеследующее изложение имеет в виду одну из проблем, выдвинутых Гумбольтом, но, как представляется автору, одну из плодотворнейших. Оно базируется, главным образом, на основном, вышеназванном, его принципиальном сочинении.

Преследуя в своем изложении, между прочим, задачи популяризации, автор допускал повторения, которые не всегда могут быть оправданы его диалектическими намерениями, и объясняются целями дидактическими. В интересах последних, может быть, следовало бы, как принято, ввести в изложение некоторое количество так называемых „примеров“. Но, по правде, бывает как-то неловко,— за автора или читателя?— когда серьезная речь начинает походить — то ли на сборник школьных упражнений, то ли на „самоучитель“ иностранного языка. На школьников и самоучек эта книга все-таки не расчитана. Кроме того, всегда думается, читатель, если он уловил мысль автора, сам, в собственном запасе, найдет нужные ему примеры. И ему ведь важнее научиться применять, чем примерять.— Подзаголовком, указывающим на характер настоящей работы, автор получил право сократить эти предисловные строки. Если бы автор был вообще смелее, он, наверное, прибавил бы к словам „этюды и вариации“ еще один музыкальный термин: „и фантазии“...[1]).

---

[1]) В основу этой работы положен доклад, читанный автором в 1923 г. в Комисии по изучению художественной формы при Философском отделении Академии Художественных Наук.

Всё совершается логически.

Гераклит, Fr. 2; Sext. Empir. adv. math. VII, 132.

Не одно ли и то же рассудок и речь,— за исключением того только, что рассудком был назван у нас внутренний диалог души с собою, совершающий всё это безгласно.

Платон, Soph. 263 E.

Введение эйдосов получилось из рассмотрения словопонятий (предшественники Платона не располагали диалектикою).

Аристотель, Met. I, 6, 987 b, 12.

Слово не сообщает, как некая субстанция, чего-то уже готового, и не содержит в себе уже законченного понятия, а только побуждает к самостоятельному образованию последнего, хотя и определенным способом. Люди понимают друг друга не потому, что они действительно проникаются знаками вещей, и не потому, что они взаимно предопределены к тому, чтобы создавать одно и то же, в точности и совершенстве, понятие, а потому, что они взаимно прикасаются к одному и тому же звену цепи своих чувственных представлений и внутренних порождений в сфере понятия, ударяют по одной и той же клавише своего духовного инструмента, в ответ на что тогда и выступают в каждом соответствующие, но не тожественные понятия.

В. Гумбольт, Ueb. d. Verschied, § 20.

Стихотворение есть речь мерная или стройная, более устроенная, чем проза; поэзия есть стихотворение, значительное по смыслу, содержащее воспроизведение божественного и человеческого.

Посидоний; Diog. Laert. VII, segm. 60.

Язык, в полном материальном разнообразии своего развития, тесно связан с образованием „национального духа“, так что сравнительное изучение многообразия языков может вестись только путем исторического исследования. Но для возможности самого этого последнего и для правильной оценки индивидуальных особенностей отдельных языков необходимо, с одной стороны, проникнуть в их изначальную внутреннюю органическую связь, и, с другой стороны, рассмотреть отличительные особенности человеческого духа в его целом. Ибо язык, будучи в своих индивидуальных особенностях характеристикою народности, в своих общих свойствах есть орган внутреннего бытия, и даже само это бытие, как оно постепенно достигает внутреннего познания и своего обнаружения.

Прежде чем выступить во внешний мир, каждое человеческое действие совершается внутренне: ощущение, желание, мысль, решение, поступок, а также и язык. Последний исходит из такой глубины человеческой природы, что его даже нельзя назвать собственным творчеством народов; он обладает видимо проявляющейся, хотя и необъяснимой в своем существе, самодеятельностью. Народ пользуется языком, не зная, как он образовался, так что представляется, что язык не столько проявление сознательного творчества, сколько непроизвольное истечение самого духа.— С самого своего начала язык порождается не только внешнею необходимостью общения, но и чисто внутренними потребностями человечества, лежащими в самой природе человеческого духа. В этом последнем качестве язык служит для развития самих духовных сил и для приобретения мировоззрения, которое достигается, когда человек доводит свое мышление до ясности и определенности в общном мышлении с другими людьми. Но как ни всесторонне язык проникает

внутреннюю жизнь человека, всё же он имеет независимое, внешнее бытие, оказывающее свое давление на самого человека.

Существование языков доказывает, что есть такие творения духа, которые возникают из самодеятельности всех, а вовсе не переходят от какого-нибудь одного индивида к остальным. В языках, следовательно, так как они всегда имеют национальную форму, нации, как такие, оказываются в собственном и непосредственном смысле творческими. С другой стороны, так как языки неразрывно связаны с внутреннейшей природою человека и скорее самодеятельно проистекают из нее, чем произвольно ею порождаются, можно с полным основанием интелектуальные особенности народов назвать действием языка. Связь индивида с его народом покоится именно в том центре, из которого общая духовная сила определяет всё мышление, ощущение и воление. Язык родственно связан со всем в ней, как в целом, так и в частностях, и нет ничего, что могло бы остаться языку чуждым. В то же время он не остается только пасивным восприемником впечатлений, но выбирает из бесконечного разнообразия возможных направлений одно определенное и модифицирует во внутренней самодеятельности всякое оказанное на него внешнее воздействие. Он, не противостоит духовной особенности, как нечто от нее внешне отделенное, но, будучи, в указанном смысле, созданием нации, он остается вместе и самосозданием индивида, в том смысле, что всякий предполагает понимание его со стороны других, а те удовлетворяют его ожиданиям. Рассматриваемый, как мировоззрение или как связь идей,— а оба эти направления в нем объединяются,—язык всегда и необходимо покоится на общей совокупности духовных сил человека.

Языки—первая необходимая ступень в примитивном образовании человеческого рода, и лишь по достижении этой ступени народы могут итти дальше, в направлении более высокого развития. Язык и дух идут вперед не друг за другом и не друг обособленно от друга, но составляют безусловно и нераздельно одно действие интелектуальной способности. Мы разделяем интелектуальность и язык, но в действительности такого разделения не существует. Духовные особенности и оформление языка (Sprachgestaltung) народа так интимно слиты, что если дано одно, другое можно из него вывести, ибо интелектуальность и язык допускают и поддерживают лишь взаимно пригодные

формы. Язык есть как бы внешнее явление духа народов,—их язык есть их дух и их дух есть их язык.

Принимая языки за основание для объяснения последовательного духовного развития и допуская, что они возникли вследствие духовных особенностей, видовые отличия которых сказываются в строении каждого языка в отдельности, нужно, чтобы связать сравнительное изучение языков с общими принципами развития языка, придать всему исследованию особое направление. Надо рассматривать язык не как мертвый продукт производства (ein Erzeugtes), а, скорее, как само производство (eine Erzeugung). Для этого надо отвлечься от роли языка в обозначении предметов и в опосредствовании понимания, сосредоточив внимание на его происхождении, тесно сплетающемся с внутренней духовною деятельностью, и на их взаимном влиянии. Когда найдены общие источники всех индивидуальных особенностей, и когда разбросанные черты связаны в образ одного органического целого, тогда мы получаем возможность дальше следить за развитием индивидуальных развитий и сравнивать их между собою. Чтобы сравнение различных языков со стороны характеризующего их строения было плодотворно, нужно исследовать форму каждого из них, и таким образом удостовериться, как каждый решает вопросы, которые, как задачи, предлежат всякому языковому порождению. Язык в своей действительной сущности есть нечто, всегда и во всякое мгновение преходящее (Vorübergehendes). Это есть не ἔργον, а ἐνέργεια, вечно повторяющаяся работа духа, направленная на то, чтобы сделать артикулированный звук пригодным для выражения мысли. Это определение непосредственно относится ко всякому отдельному говорению, но в истинном и существенном смысле лишь как бы совокупность этого говорения можно рассматривать, как язык. По разрозненным элементам нельзя постигнуть того, что в языке является самым тонким и высоким, и это — лишнее доказательство, что язык собственно заключается в акте своего действительного порождения (Hervorbringen), поскольку он воспринимается и предчувствуется в связной речи. Называть языки работою духа тем более правильно, что вообще бытие духа мыслимо только в деятельности и как деятельность. Эта работа действует постоянным и единообразным способом. Ее цель — разумение или понимание (das Verständniss). Постоянство и единообразие в работе духа, направленные на то,

чтобы возвысить артикулированный звук до выражения мысли, составляют форму языка. В этом определении форма выступает, как абстракция, тогда как в действительности это — индивидуальный порыв нации, которым она в языке сообщает своей мысли и своему ощущению значимость. Но так как этот порыв никогда не дан нам в целостности своего стремления, а лишь в разрозненных своих действиях, то нам остается только запечатлеть в мертвом общем понятии однородность его действия. В себе этот порыв всё же — единый и живой. — Под формою языка здесь разумеется безусловно не просто так называемая граматическая форма. Понятие языковой формы простирается значительно дальше правил словосочетания (Redefügung) и словообразования (Wortbildung), поскольку под последним разумеется применение общих логических категорий действия, воздействуемого, субстанции, свойства, итд., к корням и основам. К образованию основных слов[1]) это понятие совершенно особенно применимо, и на деле должно по возможности применяться к ним, если мы хотим достигнуть познания сущности языка. — Форме противополагается содержание; но, чтобы найти содержание языковой формы, надо выйти за границы языка. Внутри языка о содержании можно говорить только относительно, например, основное слово — по отношению к склонению. В других отношениях то, что принято здесь за содержание, считается формою. Язык может заимствовать какие-нибудь слова из другого языка и обрабатывать их, как содержание, но и они — содержание только в этом отношении, а не сами по себе. Абсолютно в языке нет неоформленного содержания, так как всё в нем направлено к определенной цели — выражению мысли; и эта работа начинается с первого же элемента, с артикулированного звука, так как именно благодаря оформлению он становится артикулированным. Действительное содержание есть, с одной стороны, звук вообще, а с другой—совокупность чувственных впечатлений и самодеятельных движений духа, предшествующих образованию понятия с помощью языка. — Анализ языка должен начинаться со звука и должен входить во все граматические тонкости разложения слов на их элементы, но так как в понятие формы языка никакая частность не входит,

---

[1]) Cf. Delbrück, Vergleich. Syntax, I, S. 42: „..die Bildung der Grundwörter oder, wie wir sagen wurden, die Etymologie...“.

как изолированный факт, она всегда принимается лишь постольку, поскольку в ней открывается метод образования языка. По воплощению формы можно узнать специфический путь языка, а вместе с тем и нации, путь, который пролагается ею к выражению мысли. Форма по самой природе своей есть сочинение (eine Auffassung) отдельных, в противоположность ей, рассматриваемых, как содержание, языковых элементов в духовном единстве.

Размышление над языком открывает нам два, ясно отличающихся друг от друга принципа: звуковая форма и употребление (Gebrauch), которое она находит при обозначении предметов и связывании мыслей. Употребление звуковых форм основывается на тех требованиях, которые предъявляются к языку мышлением, из чего возникают общие законы языка. Эта часть, как в своем первоначальном направлении, так и в особенностях духовных склонностей и развития, у всех людей, как таких, одинакова. Напротив, звуковая форма является собственно конститутивным и руководящим принципом различия языков, как самих по себе, так и со стороны тех затруднений или содействий, с какими звуковая форма противостоит внутренним тенденциям языка. Из этих двух принципов, из их взаимного проникновения друг другом, проистекает индивидуальная форма всякого языка. — Язык есть образующий орган мысли. Интелектуальная деятельность, всецело духовная и внутренняя, благодаря звуку речи, становится внешнею и чувственно воспринимаемою. Без связи с звуком речи мышление не могло бы достигнуть отчетливости, и представление не могло бы стать понятием. — Как внешняя природа, так и внутренняя деятельность, представляются человеку в виде множества признаков, которые он сравнивает, разделяет и связывает, стремясь к всё более объемлющему единству. Подчиняя предметы определенному единству, человек ищет единства звука, который является представителем того места, которое занимают предметы. Как живой звук, как дыхание бытия, он и вне языка течет из груди, выражая горе и радость, любовь и ненависть, и таким образом вместе с обозначаемыми предметами звук передает производимое ими чувство и общую полноту жизни.

Останавливаясь специально на отношении мышления и языка, нужно отметить, что никакое представление не есть просто рецептивное созерцание налицо находящегося предмета.

Субъективная деятельность сама образует в мышлении о б ъ е к т. Деятельность чувств должна синтетически связаться с внутренним действием духа, чтобы из этой связи выделилось представление, стало,— по отношению к субъективной способности,— объектом и, будучи воспринято в качестве такового, вернулось в названную субъективную способность. Представление, таким образом, претворяется в объективную действительность, не лишаясь при этом свой субъективности. Для всего этого необходим я з ы к, так как именно в нем духовное стремление прорывает себе путь через губы и возвращает свой продукт к собственному уху. Без указанного, хотя бы и молчаливого, но сопровождающегося содействием языка, претворения в объективность, возвращающуюся к субъекту, было бы невозможно образование понятия, а следовательно, и никакое истинное мышление. Поэтому, не касаясь даже сообщения, идущего от человека к человеку, можно утверждать, что язык есть необходимое условие мышления индивида в его заключенном одиночестве. Но в действительности человек понимает и себя, лишь удостоверившись в том, что его понимают другие, и потому язык развивается только в обществе. Всякое говорение, начиная с простейшего, включает индивидуально ощущаемое в общую природу человечества. То же самое относится и к п о н и м а н и ю: понимание и говорение только разные действия одной и той же языковой способности.

Как не возможно без языка понятие, так не может быть без него для души никакого предмета; даже внешние предметы получают для нее свою полную существенность лишь благодаря посредству языка. Но в образование и в употребление языка необходимо переходит весь способ субъективного восприятия предметов, ибо слово возникает именно из этого восприятия, и оно есть отпечаток не предмета самого по себе, а образа, произведенного этим предметом в душе. Поскольку в одной нации на язык воздействует однородная субъективность, постольку во всяком языке заключается своеобразное мировоззрение. Как отдельный звук посредствует между человеком и предметом, так весь язык посредствует между человеком и внутренне и внешне воздействующею на него природою. Человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринять в себя и обработать мир предметов. Тем же актом, которым человек извлекает из себя язык, он вовлекает себя в него, и каждый язык как бы обводит свой народ некоторым кругом, выйти из которого можно лишь на-

столько, насколько можно в то же время перейти в другой круг. Те, кто считают, что язык возникает из надобностей взаимной человеческой помощи и первоначально ограничен скудным запасом слов, неправильно представляют себе его. Язык возникает из первичной потребности в свободной человеческой общительности (Geselligkeit), и с самого начала простирается на все предметы случайного внешнего восприятия и внутренней переработки. Слова свободно текут из груди человека, и нет ни в какой пустыне орды, у которой не было бы песен. Человек— поющее животное, но при этом связывающее со звуками мысль.

Выше было сказано, что воспринимаемые языком мысли становятся для души объектом и постольку оказывают на нее чуждое действие, но объект при этом рассматривался, как возникающий из субъекта, а его действие — как обратное воздействие его на субъект. С другой стороны,— с точки зрения общественной природы языка,—если иметь в виду, как язык дается говорящему на нем поколению, надо признать, что язык для него, действительно, чуждый объект, и его действие проистекает из чего-то иного, чем то, на что он воздействует. Таким образом, язык имеет своеобразное существование, которое осуществляется в каждом отдельном случае мышления, но которое в своей цельности от этого последнего независимо.

Остановимся на некоторых особенностях влияния каждого из вышеуказанных принципов на образование и развитие языка.

Человек исторгает артикулированный звук, основу и сущность всего говорения, его телесное орудие, напором своей души. Поэтому, уже в самом первом своем элементе язык основывается на духовной природе человека. Ибо артикулированный звук создается,— и этим он отличается от животного крика и от музыкального тона,—намерением и способностью значить, не вообще что-нибудь значить, а значить нечто определенное, воплощающее в себе то, что мыслится. Его можно описать не со стороны его фактической обусловленности, а только со стороны его порождения,— только это характеризует его своеобразную природу, так как он есть ничто иное, как намеренный прием души породить его, и содержит в себе телесного лишь столько, сколько нужно, чтобы сделаться доступным внешнему восприятию. Это его тело, слышимый звук, можно даже вовсе от него отделить и тем еще чище выдвинуть артикуляцию, как это мы и видим у глухонемых. Так как арти-

куляция покоится на власти духа над своими языковыми орудиями, в силу чего она вынуждена обрабатывать звук соответственно одной из форм собственного действия духа, они, т.-е. эта форма и артикуляция, должны встречаться друг с другом в чем-то их связующем. Таковым и является тот факт, что они разлагают свои сферы на основные составные части, образующие такие целые, которые заключают в себе стремление стать частями новых целых. Кроме того, мышление требует синтезирования многообразия в единство. И потому артикулированный звук должен обладать признаками двоякого свойства: с одной стороны, резко ухватываемое единство и способность вступать в определенное единство с другими артикулированными звуками, что создает абсолютное богатство звуков в языке, и, с другой стороны, релятивное отношение звуков друг к другу и к полноте и закономерности завершенной звуковой системы. Впрочем, решающим для языка является не столько само по себе богатство звуков, сколько целомудренное ограничение необходимыми для речи звуками и правильным равновесием между ними. Языковое чувство должно обладать некоторым как бы инстинктивным предчувствием всей системы, в которой язык, в данной своей индивидуальной форме, будет нуждаться. Это можно сравнить, как и язык в целом, с огромной тканью, где все части так переплетены, что какой бы из них мы ни коснулись, мы инстинктивно чувствуем, что все они находятся во взаимном согласовании и тут же находятся перед нами. Основу всех звуковых связей в языке составляют отдельные артикуляции, но указанное ограничение состоит в том, что эти связи ближайшим образом определяются в большинстве языков им свойственным преобразованием звуков, подчиненным особым законам и навыкам. Язык приобретает от этого бо́льшую свободу и подвижность, не теряя нити, необходимой для понимания и отыскания родства понятий. Последние или следуют за изменением звуков или предшествуют этому изменению в виде законов, — в обоих случаях язык выгадывает в жизненной наглядности.

Слог не состоит, как может показаться из нашего способа писания, из двух или нескольких звуков; он составляет только один определенный звук или единство звука. Слог становится словом, если под словом разуметь знак отдельного понятия, когда он содержит значение, для чего часто требуется связь нескольких слогов. Поэтому в слове всегда заключается д в о й-

ное единство: звука и понятия. Только слова, таким образом, становятся истинными элементами речи, так как слоги, лишенные значения, таковыми назвать быть не могут в собственном смысле. Но речь не составлялась из отдельных слов, как названий предметов, путем перехода от них к связи слов, а обратно, слова возникли из целого речи, хотя они и ощущаются непосредственно уже самою примитивною речью. Объем слова есть граница, до которой простирается образующая самодеятельность языка. Простое слово есть полный распустившийся цветок языка. Поскольку слова соответствуют понятиям, естественно, что родственные понятия обозначаются родственными звуками. Когда закономерное изменение звуков закономерным образом простирается только на часть слова, а другая его часть остается неизменною или подвергается незначительным модификациям, мы можем выделять такую устойчивую часть слова под названием корня. Сплетаясь в речь, слова должны указывать еще на различные состояния, которые также находят свое обозначение в звуковой части слова. Последняя составляет третью стадию в развитии звуковой стороны слова и является новою звуковою формою, которую можно назвать в собственном смысле грамматическою.

Всё, обозначаемое в языке, распадается на два класа: отдельные предметы, или понятия, и общие отношения, которые связываются с первыми частью для обозначения новых предметов, частью для связи речи. Общие отношения, присущие, по большей части, формам самого мышления, и образуют,— так как их можно вывести из одного принципа,— законченную систему. Каждый член в ней определяется,— в его отношении к другим и к целому,— интелектуальною необходимостью. Если язык обладает достаточно многообразною звуковою системою, то между понятием этого рода и звуками можно провести последовательную аналогию. Так как образование языка находится здесь в чисто интелектуальной области, то здесь развивается еще новый, более высокий принцип, который может быть назван чистым, как бы обнаженным артикуляционным чувством (Articulationssinn). Как природу артикуляционного звука составляет вообще стремление сообщить звуку значение, так здесь это стремление направляется на определенное значение. И эта определенность тем больше, чем с большею ясностью предносится духу вся область подлежащего обозначению в ее

целостности. — Звуковая форма есть выражение, которое язык создает для мысли, но ее можно рассматривать также, как некоторого рода здание, в котором устраивается язык. Соответственно этому, не касаясь гипотетического момента творения или изобретения языка, а имея в виду только его средние периоды развития, мы можем говорить о применении (Anwendung) уже имеющейся звуковой формы к внутренним целям языка. При известных обстоятельствах народ может переданный ему по наследию язык, сообщая ему другую форму, превратить в новый язык. Сомнительно, чтобы это можно было установить по отношению к языкам совершенно различной формы. Но несомненно, что для образования многообразных нюансов языки руководятся более ясным и определенным усмотрением внутренней формы, и пользуются для этого уже имеющеюся звуковою формою, расширяя и утончая ее. В целом это явление объясняется тем, что язык дается нам в своей цельности, так что каждая частность соответствует другой, хотя бы неотчетливой, и всему целому, данному или подлежащему созданию в суме явлений и по законам духа. Действительное развитие здесь совершается постепенно, и новое образуется по аналогии с тем, что уже имеется.

Из всего сказанного ясно, что звуковая форма — главное, на чем основывается различие языков, ибо только телесно оформленный звук создает и допускает многообразие различий большее, чем при внутренней языковой форме, необходимо вносящей с собою больше сходства. Но ее более могущественное влияние зависит отчасти и от того влияния, которое она оказывает на самоё внутреннюю форму, ибо, если образование языка нужно мыслить, как взаимодействие духовного стремления обозначить материал, доставляемый внутреннею целью языка, и создать соответствующий артикулированный звук, то необходимо допустить, что уже образовавшиеся телесные формы, а еще более законы, на которых покоится их многообразие, возьмут перевес над идеею, которая еще ищет нового оформления. — Вообще образование языка всегда можно рассматривать, как порождение (Erzeugung), в котором внутренняя идея, чтобы обнаружиться (манифестировать), должна преодолеть некоторое затруднение со стороны звука, каковое преодоление не всегда даже достигается. Часто легче сделать уступку со стороны идеи и по-разному воспользоваться одним звуком или

одною звуковою формою (напр., когда одинаково образуются, вследствие заключающейся в них неуверенности, futurum и conjunctivus). В таких случаях всегда сказывается слабость производящей звук идеи, так как развитое чувство языка преодолевает эту трудность. Но во всех языках можно найти случаи, где ясно, что внутреннее стремление, — в котором и должно видеть, согласно другому и более правильному воззрению, истинный язык,—более или менее уклоняется в принятии звуков от своего первоначального пути.

Какие бы преимущества ни давало богатство звуковых форм, даже в связи с живейшим артикуляционным чувством, эти преимущества не в состоянии создать достойные духа языки, если последние не проникнуты озаряющей ясностью идей, направленных на язык (der auf die Sprache Bezug habenden Ideen). Эта совершенно внутренняя и интелектуальная часть в языке собственно и создает его; это есть употребление звуковой формы в языковом порождении. На нем именно покоится то, что язык оказывается в состоянии, по мере развития идей, выражать то, что вносится в это развитие величайшими умами поколений. Это свойство языка зависит от согласования и взаимодействия, в котором открывающиеся в нем законы находятся друг по отношению к другу и к законам созерцания, мышления и чувствования вообще. Так как духовная способность существует только в своей деятельности, как сила, вспыхивающая во всей своей цельности, но в определенном направлении, то названные законы суть ничто иное, как пути, которыми движется духовная деятельность в языковом порождении, или, по другому сравнению, ничто иное, как формы, в которых она отчеканивает звуки. Тут деятельны все силы души и все самое глубокое и объемлющее в душе человека переходит в язык и познается в нем. Все интелектуальные преимущества языка покоятся на организации духа в эпоху образования и преобразования языка.—Может казаться, что в своих интелектуальных приемах (in ihren intellectuellen Verfahren) все языки должны быть одинаковы. И, конечно, здесь больше единообразия, чем в звуковой форме, но, в силу ряда причин, есть и значительное различие. Оно зависит, с одной стороны, от того, что сила, порождающая язык, как вообще в своем действии, так и в отношении к другим деятельностям, различается по степени, и, во-вторых,

здесь действуют силы, которых творения не могут быть измерены рассудком и по одним только понятиям, эти силы—*фантазия и чувство*. Они порождают индивидуальные образования, в которых, в свою очередь, выступает индивидуальный характер нации, и где—бесконечно разнообразие способов, какими можно изобразить одно и то же в самых различных определениях. Различия, которые встречаются в чисто идейной части языка, зависящей от рассудочных связей, проистекают почти всегда от неправильных или недостаточных комбинаций (так, грамматически различные формы глагола должны были бы быть во всех языках одни, так как они могут быть определены простым выведением понятий, но, напр., в санскрите, по сравнению с греческим, наклонения оказываются недостаточно отделенными от времен).

Как в звуковой форме главными пунктами внимания являются вопросы об обозначении понятий и о словосочетании (Redefugung), так они же остаются главными пунктами и для внутренней, интелектуальной части языка. В обозначении понятий, как и в вопросе о звуковой форме, следует различать два случая: выражение индивидуальных предметов и воспроизведение отношений, применимых к ряду отдельных предметов и единообразно собирающих его в одно общее понятие. Таким образом, получается три возможных определения для внутренней формы. Обозначение понятий, куда относятся первые два пункта, с точки зрения звуковой формы, создают *словообразование*, которому здесь соответствует *образование понятий*. Всякое понятие устанавливается внутренне по ему самому свойственным признакам и по отношениям с другими понятиями, в то время как артикуляционное чувство отыскивает нужные для этого звуки. Это относится даже к внешним, телесным, чувственно воспринимаемым предметам, так как и здесь слово—не эквивалент чувственного предмета, а постижение его в звуковом порождении в определенный момент словоизобретения. В этом—источник многообразия выражений для одного предмета, так в санскрите „слон“ называется дважды пьющим, двузубым, одноруким, т.-е. предмет подразумевается всегда один, но понятий обозначается несколько. Язык воспроизводит не предметы, а понятия об них, самодеятельно духом образованные в языковом порождении,—именно об этом *образовании*, поскольку оно рассматривается, как совершенно

внутреннее образование, как бы предшествующее артикуляционному чувству, и идет здесь речь. Само собою разумеется, что такое разделение и противопоставление возможно только в теоретическом анализе. С другой точки зрения, сближаются два последних случая из названных трех. Общие отношения, как и граматические словоизменения (Wortbeugungen), покоятся большею частью на общих формах созерцания и логического упорядочения понятий. Здесь может быть установлена обозримая система, с которою можно сравнить то, что порождается всяким особым языком, и здесь опять можно говорить о полноте и правильном выделении того, что подлежит обозначению, и о самом обозначении, идейно выбранном для всякого такого понятия. Но так как здесь всегда обозначаются нечувственные понятия, часто одни только отношения, то понятие для языка часто, если не всегда, должно приниматься образно. Здесь-то и обнаруживаются собственные глубины языкового чувства,—в свя́зи господствующих над всем языком простейших понятий. Здесь открывается то, чем язык, как такой, наиболее своеобразно, и как бы инстинктивно, обосновывается в духе. Здесь меньше всего могут быть допущены индивидуальные различия,—они могут состоять только в более продуктивном пользовании языком или в более ясном и доступном сознанию обозначении, почерпаемом из этой глубины. В чувственное созерцание, фантазию, чувство и, через их взаимодействие, в характер вообще глубже проникает обозначение отдельных внутренних и внешних предметов, так как здесь поистине природа связывается с человеком, и отчасти действительно материальное содержание—с формирующим духом. В этой области по преимуществу, поэтому, проявляются национальные особенности. Великая межа прокладывается здесь в зависимости от того, вкладывает народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективной интимности (Innerlichkeit) (как напр., в языках греческом и немецком). Национальное различие сказывается, как в образовании отдельных понятий, так и в богатстве языка понятиями известного рода,—таково, напр., богатство санскрита религиозно-философскими понятиями. Но равным образом национальные особенности духа и характера сказываются и в том влиянии, которое он оказывает на словосочетание, и по которому он сам становится доступным для познания. Пылающий внутри огонь ярче или бледнее, настойчивее или слабее, живее

или медленнее, обнаруживая своеобразную природу духа, скалывается в выражении мыслей и ощущений народа. Здесь анализ языка встречается с труднейшими задачами, потому что такие своеобразия лишь в незначительной степени запечатлеваются в отдельных формах и определенных законах. Но с другой стороны, способ синтаксического образования целых идейных рядов очень точно связан с образованием граматических форм. Бедность и неопределенность форм не допускает языкового простора для мысли и вынуждает к простому, довольствующемуся немногими опорными пунктами, строению периода. Но есть в строении периодов и в словосочетании много такого, что зависит от каждого говорящего или пишущего. Язык обеспечивает свободу и богатство средств для многообразия оборотов. Поэтому, не меняясь в звуках, и еще менее в своих формах и законах, язык обогащается вместе с развитием идей. В ту же оболочку вкладывается новый смысл, в одном запечатлении дается различное, по одинаковым законам связи намечаются разные ступени хода идеи. Таков неизменный плод литературы народа, а в особенности его поэзии и философии; науки лишь доставляют языку новый материал или определяют прочнее уже существующий, но поэзия и философия касаются интимнейшей стороны человека и действуют на язык сильнее и зиждительнее.

Связь звуковой формы с внутренними языковыми законами завершает развитие языка, достигая высшего пункта в истинном и чистом проникновении их друг другом. Это совершается в одновременных актах порождающего язык духа, так как с самых первых своих элементов языковое порождение есть синтетический процес, и при том в самом истинном смысле этого слова, т.-е., где синтез создает нечто, чего не было в связываемых частях, взятых самих по себе. Совершенный синтез получается не из частностей, а из совокупности свойств и формы языка; он есть продукт силы языкового порождения в каждый данный момент, и точно отражает степень этой силы. Язык часто, но в особенности здесь, в глубочайших и наименее объяснимых частях своих напоминает *искусство*.

Язык противостоит бесконечной области мыслимого, он должен быть в состоянии найти конечным средствам бесконечное употребление (Gebrauch), и он может этого достигнуть вследствие тожества силы, порождающей мысли и язык.— С одной

стороны, обозначать понятие звуком, значит связывать вещи по природе своей истинно несоединимые. С другой стороны, понятие так мало может быть отрешено от слова, как человек от своей физиономии. Поэтому, связь столь отличных по природе стихий, как понятие и звук (даже совершенно отвлекаясь от телесного звучания последнего), требует опосредствования чем-то третьим, в чем они оба могли бы встретиться. Это посредствующее всегда бывает чувственной природы, как напр., в слове Vernunft представление des Nehmens, в слове Verstand— des Stehens, итп.,— оно относится или к внешнему ощущению, или к внутреннему, или к деятельности. Если такое посредствующее открывается правильно, то путем отделения конкретного можно достигнуть общих сфер пространства и времени и степени ощущения, т.-е. привести к интенсивности или экстенсивности, или к изменению в том и другом.

Граматическое образование возникает из законов самого мышления с помощью языка, и состоит в конгруентности звуковых форм с этими законами. Такая конгруентность в том или ином виде должна быть присуща каждому языку, разница— только в степени, чём и определяется высота совершенства языка. Его полное совершенство требует, чтобы всякое слово запечатлевалось в виде определенной части речи и являлось носителем свойств, которые распознает в слове философский анализ. Оно, следовательно, необходимо предполагает флексию. Рефлектирующее сознание, отсутствующее при возникновении языка и не являющееся, поэтому, творческою силою в процесе образования звуков, здесь не играет роли. Всякое преимущество языка в этой жизненной функции его проистекает первоначально из живого чувственного мировоззрения. Предметы внешнего созерцания и внутреннего чувства воспроизводятся в двояком отношении—в их особых качественных свойствах, различающихся индивидуально, и в их общем родовом понятии. Из распознания этого двойного отношения предметов, из чувства их правильного взаимоотношения и из живости каждого отдельного впечатления, как бы само собою, возникает флексия, как языковое выражение созерцаемого и чувствуемого. Метод флексий — единственный, сообщающий слову, для духа и для слуха, истинную внутреннюю прочность, и обеспечивающий распределение частей предложения соответственно переплетению мысли.

Внешнею структурою и граматическим строением языка вообще далеко еще не исчерпывается его сущность, истинный характер его сокрыт глубже, и может быть раскрыт только в общем ходе развития языков. В период образования форм народы больше занимаются языком, чем его целью, чем тем, что они хотят обозначить. Язык возникает подобно кристалу в физической природе, это — постепенное, но закономерное образование. Когда кристализация закончена, язык как бы готов. Орудие—есть, и духу остается пользоваться им и приноровляться к нему. От способа, каким дух выражается здесь, зависит колоритность (Farbe) и характер языка. Язык продолжает жить и развиваться, работа духа продолжает оказывать влияние на структуру языка и на строение его форм, но всё же собственные законы духа теперь стесняют свободное действие его интелекта, и чем более он пользуется уже созданным, тем более слабеет его творческое напряжение. Таким образом, чтобы точнее проследить воплощение духа в языке, надо различать граматическое и лексическое строение его, как характер его внешний и прочный, от характера внутреннего, живущего в нем на подобие души. Язык развивает свой характер преимущественно в период своей литературы и в период подготовительный к ней. Невзирая на то, что всякий индивид пользуется языком для выражения своих собственных особенностей, т.-е., невзирая на то, что один язык нации как будто делится на бесконечное множество индивидуальных языков, язык нации остается единым, всех объединяющим и по своему характеру отличающимся от языков других наций. Слово, как элемент языка, не содержит в себе законченного понятия, слово только побуждает к образованию понятия самостоятельною силою и некоторым определенным образом. Люди понимают друг друга не потому, что они действительно проникаются знаками, и не потому, что они взаимно предопределены порождать одно то же понятие, а потому, что они касаются одного звена в цепи чувственных представлений и внутреннего порождения понятия, касаются той же струны своего духовного инструмента, вследствие чего в каждом и вызываются соответствующие, хотя и не тожественные, понятия. При названии самого обыкновенного предмета, напр., лошади, мы разумеем (meinen) одно и то же, но каждый подставляет под это слово свое представление. Отсюда же проистекает, что, в период своего развития, язык создает несколько названий для одного пред-

мета, в зависимости от того, под каким свойством последний мыслится и выражением какой его особенности он замещается. Но когда таким образом затронут член цепи, задета струна инструмента, откликается и звучит целое. Возникающее понятие оказывается созвучным со всем тем, что связано с данным отдельным членом цепи до крайних пределов этой связи.

Если характер языка отделить от его внешней формы, под которою единственно и мыслится определенный язык, и противопоставить их друг другу, то характер языка состоит в способе связи (in Art der Verbindung) мысли со звуком. Поскольку нация принимает общие значения слов всегда одним и тем же индивидуальным способом и сопровождает их одинаковыми побочными идеями и ощущениями, вводит связи идей по одним и тем же направлениям и пользуется свободою словосочетания в том отношении, в каком мера ее интелектуальной смелости стоит к способности разумения, постольку она сообщает языку своеобразную окраску, которую язык фиксирует и через которую тем же порядком воздействует обратно на развитие нации.

Выше уже было говорено о соединении внутренней мысленной формы (innere Gedankenform) со звуком, как о некоторого рода синтезе, в котором исчезает отдельное существо каждого из соединяемых элементов, и который возможен только благодаря истинно творческому акту духа. В граматическом строении языков есть пункты, в которых этот синтез и вызывающая его сила непосредственно выступают на свет, и с которыми в теснейшей связи стоит всё прочее строение языка. Так как этот синтез не есть свойство и даже не есть особое действие, а постоянная деятельность, то для нее не может быть особого словесного знака. Наличие синтеза открывается в языке как бы иматериально, оно подобно молнии, которая всё освещает, и сплавливает соединяемое вещество жаром, исходящим из неизвестной области. Так, напр., когда корень запечатлевается суфиксом в имя существительное, суфикс является материальным знаком отнесения понятия к категории субстанции. Но сам синтетический акт не имеет в слове особого знака, и его существование открывается в единстве и во взаимной зависимости, в которых сливаются суфикс и корень, следовательно, в обозначении гетерогенном, косвенном, хотя и вытекающем из того же самого стремления. Этот акт можно назвать

актом самодеятельного синтезирования (der Act des selbstthatigen Setzens durch Zusammenfassung). Он встречается в языке повсюду, но яснее всего он распознается в образовании предложений, затем в производных путем флексии и афикса словах, наконец, во всех связях понятия со звуком. Во всех этих случаях благодаря связи создается нечто новое, и устанавливается, как нечто (идеально) для себя существующее. Дух творит, но в том же акте противопоставляет себе созданное, и последнее, как объект, в свою очередь, воздействует на него. Так, с одной стороны, понятие и звук, выступая, как слово и речь, создают между внешним миром и духом нечто от них обоих отличное, и, с другой стороны, благодаря изображенному акту, из отражающегося в человеке мира возникает, между человеком и миром, человека с миром связывающий и мир человеком оплодотворяющий, язык. Из этого, в конце концов, ясно, как от силы этого акта зависит вся, одушевляющая определенный язык, жизнь.

В целом, язык есть в одно и то же время завершение мышления и естественное развитие одного из чисто человеческих задатков. Это не есть развитие инстинкта, который можно было бы объяснить только физиологически, и это не есть акт непосредственного сознания, хотя он может быть свойствен только существу, одаренному сознанием и свободою,—он исходит из глубины его индивидуальности и из деятельности в ней заложенных сил. В то же время, благодаря связи с индивидуальною действительностью, язык подчинен влиянию условий окружающего человека мира. Таким образом, в действительном человеческом языке различаются два конститутивных принципа: внутреннее чувство языка (der innere Sprachsinn),—под которым разумеется не какая-либо особая сила, а вся духовная способность образования и употребления (Gebrauch) языка,—и звук, поскольку он зависит от свойств органа и покоится на том, что передается от поколения к поколению. Внутреннее чувство языка оказывает свою власть изнутри и является началом, дающим руководящий импульс. Звук сам по себе — пасивен, подобно воспринимающей форму материи. Но проникаясь чувством языка и превращаясь в артикуляционный звук, он объемлет в себе интелектуальную и чувственную силу, и превращается сам как бы в самостоятельный и творческий принцип. Так как природный дар языка общ всем людям, и каждый носит в себе

ключ к пониманию всех языков, то форма всех языков в существенном должна быть одна и всегда должна достигать общей цели. Различие может состоять только в средствах, и притом лишь в тех пределах, какие допускаются достижением цели. Но оно дано в языках многообразно, и не только в звуках, (так что те же вещи обозначаются по-разному), но и в употреблении (in dem Gebrauche), какое делает из звуков языковое чувство в отношении формы языка.— Из рассмотрения языка самого по себе (an sich) открывается форма, которая из всех мыслимых наиболее согласуется с целями языка, и преимущества и недостатки существующих языков можно определять по степени их приближения к этой форме. Эта форма более всего соответствует общему ходу человеческого духа, содействует его росту наиболее урегулированной деятельностью, облегчает согласование всех его направлений и живее возбуждает вызываемое этим согласованием чувство прелести. Но духовная деятельность имеет целью не только собственное возвышение, этим путем она достигает и другой, внешней цели: возведение научного здания миропонимания, а отсюда — опять нового творческого воздействия.

В. фон Гумбольт—ум, в истории науки основополагающий. Говорить о влияниях на такой ум и исследовать источники его творчества так же трудно, как легко обнаружить его собственное влияние на следующие за ним поколения. В то же время назвать его непосредственных учителей и предшественников, по большей части, немногих, не трудно и просто: они со своею собственностью остаются на поверхности нового творчества, как его отправный пункт, или как наименование задачи, с которой начинается его работа, или, наконец, как указание вспомогательного технического приема, облегчающего доступ к новому созиданию. Поэтому, расследование влияний на такого рода ум скорее всего следовало бы понимать, как раскрытие того контекста умственной жизни и духовных содержаний, в котором он начал сознавать свои творческие силы, и из которого мы должны не столько его объяснять, сколько стремиться его уразуметь, как член или как часть,—хотя бы бо́льшую и главнейшую,—в объемлющем целом [1]).

На развитие Гумбольта, по общему характеру его эпохи и по условиям его жизни, быть может, литературные источники оказывали меньше влияния, чем личное общение с лучшими умами времени, и, следовательно, чем та общая духовная атмосфера, которая создавалась в результате такого общения. Поэтому, для биографа Гумбольта, который хотел бы установить его личное развитие, или для фактического историка, который хотел бы поставить Гумбольта в его среду, как звено в цепи причин и следствий, пришлось бы, в интересах социологического объяснения, обратиться к исследованию, как духовных причин, так и материальных условий взрастившей его эпохи. Собственные произ-

[1]) Такова была одна из задач книги Р. Гайма, В. ф. Гумбольт, 1856 (рус. пер. 1898), теперь устаревшей, но для своего времени весьма инструктивной.

ведения Гумбольта для такого исследования были бы скорее источником вопросов, чем материалом для ответа. Исследователь здесь всегда будет находиться в затруднительном и колебательном состоянии, отнести ли к оригинальному творчеству или к заимствованию, напр., новое применение уже готового термина, модификации его, итп. В другом положении находится тот, кто ищет только уразумения смысла высказанных Гумбольтом идей и диалектического истолкования их, сперва в общем идейном контексте его времени (включающем в себя, само собою разумеется, как составную часть и всю предшествующую идейную историю), а затем и последующего времени, вплоть до определения места его идей в современном научно-философском мышлении. Для такого исследователя обращение к биографическим фактам, иногда интересное в смысле проверки, себя ли или фактов биографии, по существу—излишне, и даже вредно,—вредно по одному тому уже, что излишне, а кроме того потому, что оно может повлечь за собою неправильные сопоставления и противопоставления. Для такого исследователя единственный надежный источник—собственные произведения автора, через них он решает свои вопросы, в них находит ответы на вопросы смысла. Указанные выше сомнения и колебания не стоят на его пути, так как они касаются вопросов для него ирелевантных. Для него существенны не генезис идей и не место их в связи причин и следствий, а смысл их, место их в логической системе идей и их диалектическая филиация. Выводы интерпретации здесь могут и должны итти дальше того, что explicite заявлено самим автором, они могут даже вступать в видимое противоречие с открытыми заявлениями автора, но их оценка и критика может и должна иметь в виду только одно: признание внутренней плодоносности или пустоты самих идей и чисто логическую возможность интерпретативных выводов.

При изучении идей Гумбольта в области философии языка,—как и связанных для Гумбольта с нею областей исторического познания и эстетических воззрений,—чаще всего приходят на ум имена Гердера и Канта [1]). Проблемы языка, которые Гердер

[1]) Точнее других отношение Гумбольта к предшественникам устанавливает Пот (A. F. Pott) в своем „Введении“ к сочинению Гумбольта Ueber die Verschiedenheit.. 1876, B. II; в частности об Гердере см. CXLIX, cf. S. CLXI, о Канте особенно S. CCXV ff. (о лингвистах кантианцах в строгом смысле cf. CCII ff.)

ставил и решал по одному вдохновенью и чутью, Гумбольт переводит на почву более строгого научного и философского анализа обширного фактического материала, каким Гердер и отдаленно не располагал. Важнейшие проблемы, которые Гумбольт унаследовал от Гердера, суть проблемы происхождения и генеалогии языка, сравнительного изучения языков и классификации их, наконец, роли языка в общем развитии духа. Но ни неопределенной философской инструментовки Гердера, ни его туманных способов разрешения этих вопросов Гумбольт не принял. Он пользуется преимущественно философской и психологической терминологией Канта, которую он вводит в свои работы, не как готовые схемы распределения и обработки материала,—как то делали современные ему педантические кантианцы-лингвисты,—а скорее, как эвристический прием, как вспомогательный опорный пункт, дающий ему возможность более или менее точно фиксированным термином запечатлеть собственную мысль. Отсюда—неизбежная модификация термина, способная поставить в тупик ортодоксального кантианца. Такова была вообще эпоха непосредственно после Канта: с одной стороны, кантианство разных Якобов, Шмидов, Снелей, Кизеветеров, и под., старавшихся сделать из учения Канта схоластику на подобие той, какая была сделана вольфианцами из учения Лейбница и Вольфа, и, с другой стороны, свежее творческое движение, схватывавшее только дух Канта и оживотворявшее его новым идейным содержанием, нередко вопреки букве самого Канта и в особенности ограниченных кантианцев, движение, жизненные права которого против самого Канта защищал уже Фихте. Гумбольт умеренно пользовался терминологией Канта, а вне этого принимал критицизм и идеализм только в смысле второго из указанных толкований, т.-е. только в смысле общего идейного направления. Кантианство жило для него не в словах Канта, а в эстетически-поэтическом преломлении их в сознании Шилера, Гете, романтиков, Шелинга[1]). Чтобы правильно понять и оценить философские основания теорий Гумбольта, нужно не выискивать в них кантианские элементы, а просто поставить его в ряд с такими современниками, как Фихте, бр. Шлегели,

[1]) Ср. Р. Гайм, В. фон Гумбольт. Рус. пер. стр. 127—33 (по поводу эстетических воззрений Гумбольта), спец. о Канте ср. стр. 368 сл.; ср. также Ed. Spranger, W. von Humboldt, Brl. 1909, S. 318 ff. (167 ff.— Гердер, как ученик Винкельмана и Шефтсбери).

Шилер, Гете, Шлейермахер, Шелинг, Гегель. Может быть, меньше всего Гумбольт был последователем Гегеля, но по смелости замысла, по широте захвата мысли, по глубине проникновения, он должен быть поставлен рядом именно с Гегелем. Порою прямо кажется, что философия языка Гумбольта призвана завершить собою систему философии Гегеля. Но воспринятая в тоне, заданном Гумбольтом, его философия языка должна была бы быть не простым дополнением к философии истории, права, религии, искусства, а должна была бы сделаться центральною проблемою философии духа, реализующего в языке все другие конкретные проблемы философии. Уже Гердер указал основание для этого, Гумбольт его углубил и укрепил.

Гердер, характеризуя работы Монбодо и Гариса, как первую попытку найти основания для сравнения языков различных народов на различных ступенях культуры, высказал предположение о возможности такой философии разума, которая будет воссоздана из собственного дела разума—из различных языков земного шара. Гумбольт углубляет эту мысль соображением, к которому он часто возвращается в своих изысканиях по философии языка, и которого смысл сводится к тому, что язык есть такая форма воплощения духа и идеи, без существования которой для нас не было бы ни духа, ни идеи. В одной из своих работ, которые следует отнести к философии истории (Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers, 1822), Гумбольт, отметив, что во всякой человеческой индивидуальности можно видеть форму воплощения идеи точно так же, как и во всякой народности, подчеркивает существование еще особых „идеальных форм“ (idealische Formen). Сущность их состоит в том, что они являются более первоначальными и более самостоятельными, чем какие-либо другие формы, индивидуальные или народные, воплощения духа. Как более независимые основания других форм, они обладают настолько могущественным и определяющим значением, что более оказывают влияние своей самостоятельностью, чем испытывают какое-либо влияние на себе. Таковы именно языки,—ибо всякий язык обнаруживает себя, как „своеобразная форма порождения (Erzeugung) и сообщения (Mitteilung) идей“. И истинно гегелевская идея фатальной необходимости материального воплощения духовной культуры в ее историческом развитии видна в словах Гумбольта, которыми он продолжает

только что приведенное рассуждение: вечные прайден (Urideen) всего мыслимого находят себе воплощение,—красота—в телесных и духовных образах, истина—в неизменном действии сил по присущим им законам, право—в неумолимом ходе, самих себя вечно осуждающих и карающих, событий. Гегель не стал бы отрицать, что язык есть объективация духа, как Гумбольт так же признал бы, что искусство, право, государство — тоже объективация духа. Но Гумбольт там идет дальше Гегеля и там переместил бы центр гегелевского построения, где в его смысле и более реалистически можно было бы продолжить: сами искусство, право, государство суть язык духа и идеи.

У Гумбольта нет той устойчивости терминологии, с которою мы встречаемся у философски строго дисциплинированных умов. Поэтому, сопоставление его с его философскими современниками только тогда может быть правильно понято, когда оно берется в каком-то основном смысле его терминов, а не в буквальном сравнении определений и описаний. И это свидетельствует не о слабости философского зрения Гумбольта, а скорее о широте поля этого зрения. В этом формальном качестве Гумбольт также более похож на Гегеля, чем на педантического Канта. Как в диалектических описаниях Гегеля отражаются различные моменты истины в развитии самого понятия, так и в определениях Гумбольта накопление предикатов и эпитетов означает не несогласованность, а лишь желание множеством оттенков подчеркнуть один коренной истинный смысл термина. Так, как бы и по-кантовски звучит заявление Гумбольта, что язык есть орган бытия,—(по-кантовски: органон в противоположность канону),—но тотчас эта выцветшая метафора оживает, когда Гумбольт продолжает: не только орган, а само внутреннее бытие, как оно постепенно достигает внутреннего познания и как оно обнаруживает себя. Дальнейшие указания глубже вскрывают подлинный смысл этого первого определения. Подобно тому, как для Гегеля „всё сводилось“[1]) к тому, чтобы истинное понимать не как субстанцию только, но в такой же мере и как субъект, для Гумбольта было величайшим откровением, что язык есть энергейа[2]). К этому у него также „всё сво-

[1]) Собственное выражение Гегеля: Es kommt alles darauf an... (Phanomenologie des Geistes, hrsg. v. G. Lasson, S. 12).

[2]) Весьма возможно, что самый термин „энергейа“ заимствован Гумбольтом у Гариса—непосредственно или через Гердера (cf. Ed. Spran-

лилось". В этом смысле надо понимать и все другие оттенк в описании этого термина: язык есть „духовная деятельность", „имманентное произведение духа", он заложен в самой природе человека.

Раз принят такой смысл термина, и намерение термина установлено, нельзя уже его упрощать, гнуть силою к земле и загонять в психологическую конуру, как то все-таки делали Штейнталь и его приверженцы. Это не значит, что психология не должна заниматься языком. Но для психологии это—иная проблема, не та, что для философии, как и не та, что для социальной истории языка. Язык есть, как социальная вещь, есть, как психофизический процес, но есть также, как идея. Язык можно рассматривать не только как субстанцию, но и как субъект, не только, как вещь, как продукт, произведение, но и как производство, как энергию. Если, поэтому, у Гумбольта встречается употребление термина в смысле вещи или психофического процеса, это — не противоречие, а только употребление термина в ином, не основном намерении гумбольтовой философии языка, употребление его в ином плане. К развитию основного плана такие случаи присоединяются не в их материальном смысле, а лишь в качестве формально-аналогических илюстраций. Так, напр., когда Гумбольт помещает язык среди прочих „действий" человека,—ощущение, желание, мысль, решение, язык, деяние,—это—только аналогия, формально илюстрирующая энергийную природу языка, как такого. Это—только указание на то, что есть общий признак, по которому язык вставляется, как член, в названный ряд терминов, но если мы хотим изучать язык не в смысле признаков, существенных для других членов этого ряда, а в смысле уже имеющегося основного определения, то мы должны этот общий признак возвести до принципиального значения, и только в его свете толковать данное сопоставление. Язык эмпирически дается нам в нашей речи, как психофизический процес, и он может найти себе психофизическое объяснение, общее с объяснением желания, мысли, решения, итд. Но изучаемый в самой своей данности, как такой,

---

ger, W v. Humbolt, S. 314). Имею в виду Гариса Discourse on Music, Painting and Poetry (1744—были немецкие переводы 1756 и 1780); лично я этой работы Гариса не видал, и здесь припоминаю только изложение ее во Введении к книге: Lessings Laokoon, hrsg. und erläutert v. H. Blumner, 2. Aufl. Brl. 1880, S. 32—34.

он возводится в идею, в принцип, с которыми мы уходим в другой план мысли и изучения, где говорим не о психофизическом процессе или факте речи, а о своего рода языковом сознании, как таком. Здесь задача—не отвлеченное объяснение из какого-нибудь общего фактора, а конкретное включение этого вида сознания в некоторую объемлющую, но также конкретную, общую структуру сознания. Когда Гумбольт говорит, что язык,—именно как языковое сознание,—проявляется в речи, что речь и понимание надо рассматривать, как две стороны одного и того же, он не абстрагирует, не объясняет, а констатирует, включая одно конкретное в другое. Тут надо итти не отвлеченными переходами от вида к роду, а осмысленною диалектикою от члена к сочлененному, без наличия которого и существование, и смысл члена лишены разумного и реального основания.

То же толкование приложимо к языку, как выражению национальной психологии. Язык нации, точно так же, как язык всякого более или менее устойчивого социального образования, — класса, профессии, группы, объединенной общею работою, ремеслом, язык двора, рынка, итп., — подобно индивидуальному языку, есть факт „естественной“ речи, общенациональные, диалектологические и пр. особенности которой входят в среду общих социально-исторических условий данного образования, определяют данную речь, как „вещь“ среди вещей, подлежащих материально-историческому и социально-психологическому объяснению. В таких своих особенностях языки изучаются исторически, а также распределяются, как виды и роды, по отвлеченным признакам, складывающимся в характеристику класса. Добытый путем отвлечения признак, полагаемый в основу класификации языков, может быть внешним, несущественным, неосновным для понятия языка, как такого, напр., это может быть материальная или психологическая характеристика самой группы, которая пользуется данным языком, это может быть ее антропологическая или расовая (анатомическая, физиологическая, итп.) характеристика, географическая, итд. Во всех этих случаях, то, что важно для отвлеченной кавзальной связи, в которой изучается языковой факт, считается существенным и для самого изучаемого факта. Другое дело, если мы воспользуемся тем признаком языка, который заставляет нас видеть в нем выражение национального или группового сознания, как поводом для возведения его самого в принцип, по которому обсуждается

разнообразие типов и членение типов языкового сознания, как исторического, национального, класового, профессионального, итд. Созданная по этому методу класификация,—конкретная и структурная,—может лечь в основу эмпирической класификации,—(хотя бы для некоторых представителей ее, как в менделеевской системе, и оставались незаполненные места),—но здесь не может быть обратного отношения. Для философии языка только это принципиальное возведение остается направляющим планом и намерением, всякое другое употребление термина, социально-психологическое и историческое, остается лишь поясняющей формальной аналогией или илюстрацией.

Сказанное о возведении изучения эмпирических фактов индивидуального языка, с одной стороны, и колективного, с другой, до принципиального рассмотрения их существенной природы и смысла, не нужно понимать, как задачу установления двух рядов принципов, которые можно было бы умножать и дальше. Такая множественность, доходящая иногда до внутреннего противоречия, присуща только эмпиризму. Принципиальное рассмотрение необходимо ведет к единству и на нем основано. Нельзя забывать, что конкретный характер этого единства, на всех его ступенях, требует единого сочленения и сочлененного включения, что́ бы ни послужило поводом для перехода к нему от эмпирических данных, фактов, явлений. Мы должны всегда видеть его в свете его конечного объединяющего смысла, собою оправдывающего и освещающего каждый член и каждую подчиненную форму. В конечном итоге, поэтому, принципиальное рассмотрение языкового сознания всегда и необходимо ориентируется на последнее его единство, которое и в задаче, и в осуществлении, как всеобщее единство сознания, есть ничто иное, как единство культурного сознания. Такие обнаружения культурного сознания, как искусство, наука, право, итд.,—не новые принципы, а модификации и формы единого культурного сознания, имеющие в языке архетип и начало. Философия языка в этом смысле есть принципиальная основа философии культуры. Повидимому, единственное, с чем она требует согласования, это—конечная и последняя философская основа: действительность, как такая, в ее разумной, практической и эстетической оправданности.

Но действительность, как такая, в ее сущей и реализуемой полноте, могут сказать, составляет предмет более полный, чем

самый адекватный корелат языкового, resp. культурного сознания, поскольку в состав последнего не входят ускользающие от языкового сознания стихии. Во всяком случае, этот предмет, не может быть лишен качеств безущербной конкретности. Больше того, это есть предмет по преимуществу конкретный. Это — верно. В то же время, однако, надо признать, что и допускаемая неполнота предмета языкового сознания крайне своеобразна. Это есть неполнота для каждого данного момента, тотчас же, в следующий момент, заполняемая. Но так как это есть неполнота *каждого* момента, то новый момент — опять не полон и передается на заполнение следующему моменту, итд. Такая неполнота все же должна быть признана принципиальною, хотя и видно ясно, что она получается от того, что мы рассматриваем наш предмет, конкретный и динамический, в раздельные моменты его динамики, т.-е. как бы в плоскостях его раздельных разрезов и статически. Но так как свойства нашего предмета таковы, что вместе с принципиальною неполнотою его открывается принципиальная возможность его динамического заполнения, то в последней мы находим собственный метод и характеристику системы нашего предмета. Противоречие, которое открывается между заданною полнотою конкретного предмета и наличною неполнотою его для каждого данного момента, разрешается его собственным *становлением*, *самим путем*, непрерывным осуществлением. Такова, действительно, культура, как предмет языкового и всякого культурного сознания. Она несет в себе указанное противоречие, но в ней же самой, в собственном ее движении, в ее жизни и истории, лежит и преодоление противоречия. Метод движения самого сознания, предписываемый такого рода предметом, есть метод диалектический. Так, принципиально: *языковое сознание, по предписанию своего предмета, есть сознание диалектическое*. Всякое определение предмета языкового сознания по категориям отвлеченно-формальной онтологии,—(аналогично, напр., предмету математики или отвлеченной механики),— остается статическим и только запечатлевает принципиальную неполноту момента. Здесь должна быть своя онтология, онтология динамического предмета, где течет не только содержание, но где сами формы живут, меняются, тоскуют и текут. Содержание языкового предмета, — живой смысл, — течет и осуществляется в живых, творимых и осуществляющихся формах. Фило-

логическая формула Бёка: „познание познанного" — условна, но выразительна, и в своем смысле она содержит указание и на статическую неполноту познаваемого, и на динамическую полноту познания, и на диалектическое преодоление их противоречия в познании познанного. Многообразие филологического предмета, т.-е., другими словами, всё многообразие культуры, получает в языке, как таком, не только эвристический образец, и не только эмпирический архетип, но принцип предмета и метода.

Этот подход к языку, когда он рассматривается, как такой, в своей идее, дает возможность установить особенности и закономерности языка, по выражению самого Гумбольта, an sich. Это an sich надо понимать, конечно, не в кантовском смысле, и вообще не в смысле „вещи в себе", а ближе к гегелевскому употреблению этого термина, т.-е. в смысле чистой потенциальности или идеальной возможности. Естественно, что какие бы законы мы ни установили в анализе языка, как такого, an sich, эмпирически (исторически) осуществляющиеся языки обнаружат качества, изучаемые эмпирически же, т.-е. устанавливаемые в эмпирических, более или менее отвлеченных обобщениях. Эти обобщения могут простирать свою значимость на более или менее обширную группу языков и языковых явлений, может быть, даже на все наличные языки. Такое эмпирическое изучение языка или, вернее, языков, создает особую эмпирическую обобщающую науку о языке, общее языкознание или лингвистику. Исторически, возникая в результате эмпирического изучения отдельных языков, она начинает с течением времени играть, по отношению к этому специальному изучению, роль как бы эмпирического основания. Последнее, меняясь вместе с прогресом специального изучения и в зависимости от него, не может заменить принципиального основания, анализирующего язык, как такой, но фактически работа эмпирических языковедов часто ориентируется только на это эмпирически обобщенное основание [1]). Кажущаяся достаточность такого основания поддерживается тем, что, с большею или меньшею степенью сознания, эмпирический исследователь провидит в нем,

[1]) Герман Пауль хотел возвести такой эмпирический конгломерат в „принципы",—в этом, не только его, но, быть может, всех т.-наз. младограматиков — историческая незадача (Ср. H. Delacroix, Le Langage et la Pensée, 1924, p. 27—28).

латентно в нем заложенные, принципиальные основы языка. Наименьшая степень этого сознания ведет к огульному отрицанию необходимости и возможности философских принципов и обычно сопровождает кризис самой эмпирической науки, когда специальное исследование перерастает пределы своего эмпирически обобщенного основания, отражающего уже преодоленную в науке ступень. Обратно, высшая степень этого сознания обычно исторически сопровождает наступающий после кризиса подъем, когда создаются новые обобщения, требующие и ищущие хотя бы частичного согласования с философскими принципами и оправдания себя через них.

Гумбольт понимал свою задачу в этом последнем смысле, и, толкуя общее языкознание, как сравнительную лингвистику, он определяет ее предмет и задачи согласованно со своими философскими принципами. Так, если принципиально со стороны предметной язык есть преимущественная конкретность, а со стороны сознания—преимущественная характеристика культурного сознания, то принципиально же язык, как такой, есть у с л о в и е всякого культурного бытия, а следовательно, и его исторического осуществления в формах человеческого общения. Но раз осуществляемый в человеческом общении, он неизбежно для этого последнего должен представляться так же, как с р е д с т в о, как средство самого общения, среди других средств общения. И если на первых, хотя и длительных, ступенях развития науки о языке ничего в языке, кроме средства, не видят, это нисколько не мешает эмпирическому исследованию, потому что всё же тот факт, что язык есть средство, констатирован правильно. Затруднения начинаются лишь с того момента, когда этот факт пытаются объяснить—(напр., в теориях происхождения языка),—забывая, что этот факт—только отвлеченное обобщение, а не сущая полнота. Объяснения Гумбольта, среди прочих недостатков, присущих всем объяснениям, не преодолевают и указанных затруднений, тем не менее основная мысль об осуществляющемся языке, как средстве общения, проводится им строго. Также не все выводы сделаны Гумбольтом из этой мысли, но многие указаны или намечены с достаточною ясностью.

Когда Гумбольт высказывает в форме утверждения догадку, что языки возникают не столько из необходимости взаимной помощи среди людей, сколько из потребностей свободной чело-

веческой общительности, то здесь одинаково неубедительны: и ссылка на „возникновение“,—о котором мы ничего не знаем,—и ссылка на „потребности“,—о возникновении которых мы также ничего не знаем. Но если видеть в этой догадке простое отражение наблюдения, которым можно воспользоваться для характеристики языка, как средства, то такая характеристика дана здесь с нужною полнотою. В отличие от чисто утилитарного толкования языка, эта характеристика охватывает его не только в его прагматических, но и в его исконн поэтических функциях. Человек—поющее животное изначально, и также изначально он—животное, связывающее со звуком мысль, но лишь только он вступает в общение с себе подобными,—хотя бы это общение мы рассматривали лишь, как производное его изначальных способностей и задатков,—он начинает пользоваться своими задатками, как средствами для достижения целей самого общения. Именно, как средства, языки развиваются в обществе, подчиняясь его собственной телеологии, испытывая на себе воздействие всего целого социальной организации и среды, словом, сами становятся социальной вещью среди других социальных вещей, входят в их общую историю и имеют свою собственную специфическую историю.

Язык посредствует не только между человеком и мыслимою им действительностью, но также между человеком и человеком, передавая мыслимое от одного к другому в виде и в формах общественной речи. Как социальная вещь, язык не есть чистый дух, но он не есть также и природа, телесная или душевная (внешняя или внутренняя). Как эмпирическая социальная вещь, как средство, язык есть „речь“, а человеческая речь есть нечто отличное и от мира (природного) и от духа (S.258). Эмпирически именно в таком виде, отмечает Гумбольт, язык дан говорящему поколению (S. 76 f.). В таком виде он должен быть также предметом эмпирического изучения. Язык вошел в историю, как ее составная часть, и он становится предметом конкретно-исторического изучения. В своем эмпирически-социальном историческом бытии, он не теряет своих принципиальных свойств, не может их потерять, но он их осуществляет лишь частично и ущербно: идеальные возможности языка переходят в случайную действительность речи. Какова бы ни была мера этой частичности, ее изучение в связи с возможною принципиальною полнотою языка, как такого, вырастает здесь до

основоположного значения науки о языке для всей исторической науки в целом. „При рассмотрении языка an sich,— говорит Гумбольт,—должна открыться форма, которая из всех мыслимых наиболее согласуется с целями языка, и нужно уметь оценивать преимущества и недостатки наличных языков по степени, в какой они приближаются к этой единой форме" (§ 22, S.309) [1]).

Язык в его речевой данности есть человеческое слово. Принципиальный анализ слова предполагает более общий предметный анализ значащего знака, как такого, но и обратно, поскольку слово есть экземплификация значащего знака вообще, мы можем, анализируя его, получить данные общего значения, во всяком случае, пригодные для того, чтобы быть основанием эмпирической науки об языке. Слово в его чувственной данности есть для нас некоторое звуковое единство. Звуковое единство, по определению Гумбольта, только тогда становится словом, когда оно имеет какое-нибудь значение, под которым Гумбольт весьма неопределенно разумеет „понятие". В данности слова, таким образом, мы имеем двойное единство: единство звука и единство понятия (S.88). Но именно, как слово, оба эти единства образуют особое, первично данное единство, как бы единство тех единств.

В высшей степени важно с самого начала установить, как мы приходим к этому единству,—является ли оно, действительно, первичною данностью, определяемою специфическим актом сознания, или оно — производно, т.-е. сводится к более общим актам, напр., асоциаций, апперцепции, итп. Непредвзятость Гумбольта и его независимость от психологических гипотез лучше всего сказывается в том, что он настаивает на первичном характере соответствующего акта. К сожалению, толкует его Гумбольт ложно, и вместо ясности вносит в самую постановку вопроса осложняющую его запутанность.

По Гумбольту, это есть синтез, определяемый постоянною деятельностью синтетического установления (§ 12, § 21, S. 259 f.). Следовательно, данность, о которой у нас идет речь, есть специфическая данность, устанавливаемая в особых языковых

[1]) Ср у Ф. де Сосюра (Cours de Linguistique Générale) определение языка (la langue), как „нормы всех других проявлений речи (le langage)", (p. 25) и характеристику его, как „формы, а не субстанции" (elle est une forme et non une substance) (p. 157,169).

актах и определяемая в особых языковых категориях. Особенно ясно, по Гумбольту, эти акты распознаются в образовании предложений, в словах, производных с помощью флексии и афикса, и во всех связях понятия со звуком вообще. Можно предположить, что Гумбольт пришел к этой идее под внушением Канта: мы имеем дело с языковыми категориями, которые конституируют конкретные смыслы, подобно тому, как категории естествознания, по Канту, конституируют природу. Внушением же Канта можно объяснить тенденцию Гумбольта придавать этим категориям лишь субъективно-предметное значение, а в связи с этим и то, что он толковал логическое в терминах „чистого" (не только от чувственности, но и от языкового выражения) мышления. Как увидим ниже, многие неясности учения Гумбольта проистекали именно из этого отвлеченного понимания актов мышления.

Если названный синтез есть специфический акт языкового сознания, то в конкретном анализе языковой структуры, какие бы „мелкие" или „крупные" члены ее мы ни рассматривали, мы необходимо встретимся с обнаружением этой специфичности. Гумбольт дал блестящее выражение этой мысли уже в статье „О сравнительном изучении языка"[1]. „Язык, — говорит он, — в каждом моменте своего существования должен обладать тем, что делает из него некоторое целое". В человеке, продолжает он, объединяются две области, которые могут быть делимы на обозримое число устойчивых элементов, но которые в то же время способны связываться друг с другом до бесконечности. „Человек обладает способностью делить эти области, духовно с помощью рефлексии, телесно с помощью артикуляции, и вновь связывать их части, духовно в синтезе рассудка, телесно в акцентуации, которая объединяет слоги в слова, и слова в речь. — — — — Их взаимное проникновение может совершаться только с помощью одной и той же силы, а последняя может исходить только от рассудка". Очевидно, разгадка этого „взаимного проникновения" есть разгадка специфичности синтеза в „единстве единств" и вместе разгадка самого языка, как конкретной формы сознания. Трудности, которые стоят здесь перед Гумбольтом: объединить в синтезе рассудка две „области", из которых

[1]) Ueber das vergleichende Sprachstudium... (читано в Академ. Наук 29 июня 1820 г.) §§ 4,5, (WW. B III 1843. S. 243—4).

одна есть область того же рассудка (как способности „понятий"), а другая ему принципиально гетерогенна, суть те же трудности, которых не мог преодолеть Кант, когда хотел в синтезе трансцендентальной апперцепции, т.-е. в синтезе рассудка, объединить рассудочные категории и гетерогенные им чувственные созерцания. В обоих случаях одно из двух: либо объединяющая синтетическая деятельность не специфична, либо анализ не доведен до конца, и если, напр., синтетическая деятельность есть деятельность именно рассудка, т.-е. словесно-логическая, то „область" чистых значений, есть область особого специфического порядка. И нельзя, след., в последнем случае отожествлять „значение" и „понятие", ибо последнее, в своем законе и акте образования, и есть ничто иное, как подлинный синтез синтезов, последний синтез, совершаемый языковым, словесным сознанием и в нем самом; более высокого синтеза для него не существует, так что само требование его есть уже софистическое домогательство.

Гумбольт отвергает первую часть дилемы, вторую, однако, представляет себе в иной возможности, более подходящей к представлениям его времени. Приняв специфичность единого языкового синтеза, как специфичность языкового сознания, и не замечая, что это именно и есть область логического сознания, или, что — то же, не замечая, что специфичность синтетического языкового сознания состоит именно в его логичности, Гумбольт область „понятий" изображает, как область отвлеченно-логическую, концептивную, а не как область живого и конкретного слова-логоса, т.-е. оформленного, не только внешне, но и внутренне, содержания-смысла. Поэтому, для Гумбольта, мышление, как такое, имеет свои (логические) формы, отличные от форм языковых, в частности граматических. Тем не менее эти формы имеют для языка свое особое значение, поскольку граматические формы можно рассматривать, как то или иное применение форм логических, чисто мыслительных [1]). Вопрос о „применении" здесь возникает только вследствие того, что область отвлеченных логических „понятий" возводится в самодовлеющую систему, от которой должен быть найден переход к живой языковой деятельности. В таком виде

[1]) См. S. 49, 92, 44 — 45, ср. ст. Гумбольта Ueber das Entstehen der grammatischen Formen usf. WW. III, особ. S. 277—296; также ср. Steinthal, Die Sprachwissenschaft v. Humboldt, S. 105.

вопрос возникает искусственно, и, следовательно, трудности разрешения его непреодолимы. Такого вопроса вовсе не существует, пока мы не теряем из виду существенно конкретного бытия логической формы в языковой конституции смысла [1]). Примем всерьез положение, что и самый последний, далее неразложимый языковой элемент содержит в себе все то, что содержится в любой развитой форме языка, тогда ясно, что если в последней мы констатируем органическую наличность логического, оно должно быть и во всяком элементе. И обратно, если оно устранимо из последнего, и при том так, что его языковая природа не разрушается, оно безболезненно устранимо и в целом языкового тела. Дело, по всей вероятности, так и обстояло бы, если бы слова были только „именами", а не были бы в то же время знаками смысла [2]). Смысл имеет неодолимую потребность воплощаться материально, почему идеалисты и говорят иногда, что он воплощается в вещах природы. Но если бы смысл воплощался только в вещах природы, как они нам даны, когда мы состоим простыми созерцателями природы, его формы не были бы *логическими* формами, а были бы лишь законами природы. Смысл жаждет и творческого воплощения, которое своего материального носителя находит, если не исключительно, то преимущественно и образцово в *слове*. Именно развитие и преобразование уже данных, находящихся в обиходе форм слова, и есть творчество, как логическое, так и поэтическое.

Может быть, именно мысль о последнем была одною из помех для Гумбольта к тому, чтобы в самих языковых формах признать формы логические. Ибо чисто языковое многообразие поэтических форм как-будто прямо противоречит единообразию логических форм мышления. Единобразие последних Гумбольт понимал, можно сказать, абсолютно, так как, хотя он говорит о „*сравнительном* единообразии" в этой области, однако, возможное „разнообразие" он приписывает только „промахам" да влиянию чувств и фантазии, т.-е. факторам именно не-логическим. Но как-раз в сфере поэтических форм этим факторам, повидимому, принадлежит определяющая и законная роль. Из этого

[1]) Действительная проблема, как мы убедимся, состоит, обратно, в „применении", как употреблении звуковых форм для обозначения предметов и содержаний.

[2]) Ср. Pott, o c., CCLXIII ff

делается вывод, во-первых, что многообразие поэтических форм определяется психологически („образы"), а не конститутивно („тропы", „алгоритмы"), а во-вторых, что отдельные языки по-особому запечатлевают это чисто психологическое многообразие. Следовательно, в целом, там, где есть многообразие языковых форм, мы имеем дело с *особыми формами*,—соотношение которых с „*чистыми*" мыслительными формами и составляет проблему. Насколько эта проблема искусственна применительно к логическим формам, настолько же она искусственна и применительно к формам поэтическим. Только источник этой искусственности в обоих случаях разный. В первом случае—неясные философские предпосылки, во втором — чрезмерное давление эмпирии и психологии. Психологическое и эмпирически-языковое разнообразие не исключают единства законов, методов, приемов, и образование поэтических языковых форм должно толковаться не в исключение из словесно-логических форм, а в последовательном согласовании с ними. Только при этом условии „синтез синтезов" будет не искусственным объединением насильственно расторженных областей, а подлинным органическим *единством*: уходящих в глубину *смысла* корней и многообразно расцветающих, над поверхностью, индивидуальных *звуковых* форм. „Внутренние формы" языка тогда—не место искусственной спайки гетерогенных единств, а подлинная внутренняя образующая и пластическая сила конкретного языкового тела. Гумбольт отмечает, между прочим: „Язык состоит, на ряду с уже оформленными элементами, совершенно преимущественно также из *методов* продолжения работы духа, для которой язык предначертывает путь и форму" (S. 75). Эти *методы*, формирующие словесно-логические формы, эти формы форм, подлинные внутренные формы, именно, как законы образования слов-понятий, и связывают в общее единство единства звуковых форм, не с единствами отвлеченных понятий, однако, а с предметным единством смыслового содержания.

Если мы теперь обратимся к анализу смысла второго из объединяемых единств—к *звуковым формам*, мы откроем в объяснениях Гумбольта данные и поводы для интересных и поучительных выводов, хотя вместе с тем еще раз убедимся, что Гумбольт, располагая ответом на действительную проблему единства языкового сознания, заботится о решении вопросов искусственных и фиктивных.

Звуковые единства или звуковые формы,— если мы станем при рассмотрении их переходить от языка к языку,— дают поражающее разнообразие, подводимое, однако, в каждом отдельном языке под известную закономерность. В этом смысле Гумбольт характеризует звуковую форму, как подлинный конститутивный и руководящий принцип разнообразия языков (S. 63—64, 99), и готов искать в ней основание для установления типов языков и для их класификации. Но звуковое разнообразие, как констатирует сам Гумбольт, есть, прежде всего, „содержание",— как же оно сочетается в единство формы и становится конститутивным принципом? Гумбольт опять-таки, повидимому, по аналогии с кантовскими формами чувственного созерцания, готов также допустить своего рода априорную форму созерцания, играющую по отношению к языку роль аналогона пространству и времени, и отличную, следовательно, от категорий чистого мышления. Эту форму можно признать в устанавливаемом им понятии „чистого артикуляционного чувства" (S. 96). Если освободить это понятие от субъективистического кантовского толкования и признать в артикуляционном чувстве своеобразное переживание, имеющее свой предметный коррелат в чувственных формах звуковых единств, то в последних, действительно, мы можем видеть конститутивную основу, вносящую порядок и закономерность в многообразие звуковых явлений языка.

Гумбольт раскрывает нам мысль капитальной важности, когда он, допустив наличность чистого артикуляционного чувства, и каждый отдельный артикуляционный звук рассматривает, как некоторое „напряжение души" (S. 79), определяемое его прямым „назначением": выразить мысль, в отличие от всякого животного крика и даже музыкального тона. В артикуляционном звуке, по словам Гумбольта, воплощено „намерение души породить его" (S. 80), намерение, в свою очередь, определяемое отношением порождаемого звука к какому-то смыслу. Артикуляционное чувство — не простая способность артикуляции, констатируемая в качестве присущей человеку физиологической особенности, а это есть принципиальное свойство языка, как орудия мысли находящихся в культурном общении социальных субъектов. Слово, и со своей звуковой стороны, не рев звериный и не сотрясение воздуха, а необходимая интенция сознания, из его конкретного состава не исключимая иначе,

как в отвлечении. Артикуляционный звук, как часть слова,— с точки зрения изложенного,— и со своей материальной стороны, как содержание, уже не может рассматриваться в качестве случайного адъюнкта осмысленного слова, а выступает, как в себе самой также осмысленная („назначение") чувственная дата слова.

Всё это важно, прежде всего, критически. Последовательно проводимая Гумбольтом социальная точка зрения на язык углубляется здесь принципиально. В его идее артикуляционного чувства заключается не только априорное возражение против теории языка, как животного крика, но и вообще против всяких психологических теорий, основывающих свои объяснения на ассоциациях, аналогиях, итп. Когда Гумбольт говорит, что язык необходимо существует для самой возможности образования понятий, для их объективирования и опредмечения, а иначе мы не имели бы даже конкретной живой „мысли", он еще оставляет место для психологического объяснения самих понятий и их образования. Но когда он вводит понятие „чувства артикуляции", как сознания идеальной закономерности, как „правила" образования фонетических сочетаний, превращающихся в морфемы лишь благодаря наличию этого правила и соблюдению его социально определенным субъектом, всякое рассуждение о происхождении его из ассоциаций и апперцепций теряет свою убедительность перед лицом самостоятельности и первичности названного правила. Равным образом, анализ звуковых форм языка, как форм сочетания (Gestaltqualitat) акустических дат, может иметь значение для изучения языка, как социального факта, лишь при условии раскрытия в этих формах указанного „намерения" или „назначения"; в остальных случаях они остаются проблемою психологического и вообще естественнонаучного рассмотрения. В особенности легко уловить здесь принципиальное углубление социальной точки зрения на язык, если вспомнить, подчеркиваемое Гумбольтом, постоянное давление готового языка, традиции, на творческое языковое сознание. В области звуковых форм оно, между прочим, сказывается в давлении уже готовых морфем на языковое творчество, каковое давление, в согласии со всем сказанным, надо также понимать, не как фактор автоматического ассоциативного процеса, а как ограничение сферы того последовательного искания и отбора, которыми руководит интенция самого языкового сознания,

согласно своим собственным, как сказано, методам. Таким образом, эмпирическое,— психологическое, историческое и социологическое,—изучение языка находит себе принципиальную основу.

В связи с тем же вопросом о единстве звуковой формы проблема единства двух единств всплывает в новом виде, и решение, которое мы находим у Гумбольта, выступает, на первый взгляд, в явном противоречии с тенденцией уже рассмотренного решения. Там Гумбольт искал верховного единства в особой синтетической деятельности рассудка, не оценив того, что вводимое им понятие внутренней формы уже решает вопрос. Оно именно создает в языке конститутивное отношение между звуковою внешнею формою и собственно предметным значением, смысловым содержанием вещей. Теперь, введя понятие внутренней формы, он ставит вопрос об „соединении звука с внутреннею формою" (§ 12, 13). Но на этот раз он находит объединяющее начало не в рассудке. В целях методологической ясности он заостряет свою проблему до противоречия: с одной стороны, понятие так же не может быть отрешено от слова, как человек от своей физиономии, и, с другой стороны, он утверждает, что обозначать понятие звуком значит связывать вещи, по своей природе никогда не соединимые (§ 13). Чтобы тем не менее понять возможность связи вещей по природе своей несоединимых, ему приходится сделать особое допущение,—в виде некоторого „посредника", который он представляет себе непременно чувственным, хотя бы это было внутреннее чувство или деятельность.

Такое заключение не связано неразрывно с общими философско-лингвистическими идеями Гумбольта и не находит себе в дальнейшем применения. Между тем оно способно порождать недоразумения и, действительно, порождало их[1]). Прежде всего, тут может возникнуть формально-терминологическое затруднение: к чему этот чувственный посредник между чувственным и духовным? Если „чувственное" может быть вообще связано с „духовным", то ни в каком новом „чувственном" же посреднике надобности нет; а если такая связь вообще невозможна, то новый чувственный посредник не поможет, возникнет вопрос

[1]) Пот, например, прямо констатирует свое непонимание мысли Гумбольта (см. его Примечания к изданию Введения, S. 460 — 461); Гайм не находит ей надлежащего места (ср. стр. 371 с 420 рус. пер.).

о посреднике еще раз, между ним и „духовным", логическим. Если не следовать букве рассуждений Гумбольта, а попытаться найти за его логическими уклонениями внутренние мотивы их, то надо признать, повидимому, что для Гумбольта здесь важна не столько „чувственность" сама по себе, сколько присущая ей „наглядность", как об этом можно судить по тому заявлению Гумбольта, согласно которому, при достаточном отделении конкретного, мы в результате придем к постоянным формам „экстенсии" и „интенсии", т.-е. к наглядным формам пространства, времени и степени ощущения (S. 121). Совершенно очевидно, что все эти рассуждения Гумбольта находятся под внушением кантовского учения о схематизме чистых рассудочных понятий. Гумбольт не мог преодолеть кантовского дуализма чувственности и рассудка. Кант достигал хотя бы видимости такого преодоления, апеллируя к формам времени, как условию многообразия внутреннего чувства. Для Канта другого выхода, повидимому, и не было, так как наличность „интелектуальной интуиции", т.-е. акта, объединяющего в себе „логическое" и „наглядное", Кант отрицал. Выход, закрытый для Канта, должен остаться открытым для Гумбольта. И то же понятие внутренней формы, как увидим, даст нам возможность разрешить действительно заключенные в поднятом вопросе проблемы, и устранить проблемы фиктивные и софистические. Внутренняя форма, как форма форм, есть закон не голого отвлеченного конципирования, а становления самого, полного жизни и смысла, слово-понятия, в его имманентной закономерности образования и диалектического развития.

Существом дела, таким образом, вопрос о необходимости „посредника" не вызывается. Решение неправильно возникшего вопроса должно состоять в разъяснении его неправильности и в устранении его. В вышеизложенном принципиальном учении Гумбольта достаточно материала для вскрытия его собственной ошибки. Если, как твердо устанавливает сам Гумбольт, для возможности образования понятия необходим язык и, говоря эмпирически, звук, а звук, в свою очередь, как языковое явление, есть ничто иное, как „воплощение намерения его породить", притом с определенным „назначением": выразить мысль, то, очевидно, в самом этом „намерении" и лежит та единая интенция слова, как целого, которая и объединяет в конкретности слова лишь отвлеченно различимые его стороны, —„чув-

ственную" и „логическую". Артикуляционное чувство должно совпасть с сознанием логического закона слова в едином акте языковой интуиции единого языкового сознания (см. ниже, стр. 126). И этой интерпретацией мы только возвращаемся к основной общей идее Гумбольта: язык есть не законченное действие, ergon, а длящаяся действенность, energeia, т.-е., как разъясняет Гумбольт, „вечно повторяющаяся работа духа, направленная на то, чтобы сделать артикулированный звук способным к выражению мысли" (§ 8, S. 56). Это значит,— смысл может существовать в каких-угодно онтологических формах, но мыслится он необходимо в формах слова-понятия, природа которых должна быть раскрыта, как природа начала активного, образующего, энергийного, синтетического и единящего. Синтез здесь связывает не два отвлеченных единства: чистой мысли и чистого звука, а два члена единой конкретной структуры, два термина отношения: предметно-смысловое содержание, как оно есть, и внешнюю форму его словесного выражения-воплощения, как оно является в чувственно воспринимаемых формах, претворяющихся, через отношение к смыслу, из естественных форм сочетания в „вещи" социальной значимости и в знаки культурного смысла.

В современной науке термин внутренняя форма нашел широкое применение, хотя общего соглашения в определении его достигнуть еще не удалось. Этому мешает в особенности то обстоятельство, что термин возродился у современных писателей в двух различных традициях, с плотным наслоением на одной из них ряда несвязанных между собою, иногда противоречивых интерпретаций. Последняя традиция — гумбольтовская, с интерпретациями его критиков и последователей (от Штейнталя до Марти), другая — гетеанская. Гетеанская усваивается, главным образом, немецкими литературоведами [1]) (Вальцель, Эрматингер, Гирт — E. Hirt, Липольд [2])), гумбольтовская—скорее, филологами (уже Авг. Бек) [3]),

[1]) Впервые гумбольтовское понятие „внутренней языковой формы" было применено в области литературоведения, если не ошибаюсь, Шерером,—W. Scherer, Poetik, Brl 1888, S. 226,—который под „внутреннею формою" понимает „die charakteristische Auffassung".

[2]) Fr Lippold, Bausteine zu einer Aesthetik der inneren Form, 1920. В особом экскурсе автор дает справку: „К истории эстетической идеи внутренней формы" (S. 257—279); справка — несколько капризная, в которой только показывается, что всё идет, в вопросе о внутренней форме, к Гете и от Гете, у Гумбольта можно найти лишь „hin und her noch mancher Beitrag zur Lehre von der innerer Form"; история гумбольтовского термина игнорируется. Та же тенденция и у Вальцеля,— Gehalt und Gestalt... 1923, и систематичнее в статье Plotins Begriff der asthetischen Form, 1915 (вошла в сборник его статей Vom Geistesleben alter und neuer Zeit, 1922); в толковании Плотина Вальцель примыкает к Мюлеру (H. F. Muller — известный переводчик Плотина), ср. статью последнего Zur Geschichte des Begriffs „schone Seele", Germ - Roman. Monatsschrift, 1915, Mai, H. 5.

[3]) В его Энциклопедии см. S. 140, 147, 154, по изд. 1877 г. — Филолог О. Функе недавно выпустил специальное исследование о „внутренней языковой форме" у Марти,— O. Funke, Innere Sprachform, Eine Einführung in A. Martys Sprachphilosophie, Reichenberg, 1924, (в последней главе книги небольшой исторический очерк о Гумбольте, Штейнтале, Вунте; сопоставление Гумбольта и Марти проведено интересно).

лингвистами (например, Шухарт)[1]) и философами[2]) (в особ. Антон Марти).

Сколько можно судить по беглым замечаниям Гете,—(даже после обстоятельной интерпретации Липольда и историко-терминологических изысканий Вальцеля), — для него понятие „внутренней формы"—случайно. И едва ли Гете, терминологически—всегда наивный, не умевший справиться с простыми философскими терминами, беспомощный перед всякой сколько-нибудь тонкой философской дистинкцией, едва ли он и мог бы уловить и оценить действительное значение такого трудного понятия, как понятие внутренней формы. Скорее всего, оно было для него только метафорою, заменявшею другие, столь же неопределенные в его словоупотреблении метафорические выражения, вроде: „то, что направляет органическое оформление", нечто, что „ощущается сердцем, как полнота другого сердца", „душа поэтического произведения", итп. Всё в целом— весьма смутно, — какая-то энтелехия или vis vitalis метафизики художественного произведения, как „организма". И всё это — весьма отлично от „внутренней формы" Гумбольта. С последней это всё имеет, пожалуй, только то общее, что в обоих случаях имеется в виду некоторая как бы активность, некоторое „формообразующее" начало и организующее. Но в таком общем смысле это понятие, если не самый термин, присуще, быть может, всякому идеализму, в особенности немецкому, так наз. класическому идеализму[3]), начиная с Шилера, романтизму, на-

---

[1]) См. по Hugo Schuchardt-Brevier, составленному Лео Шпицером, 1922.

[2]) Кассирер в своей новой работе, Philosophie der symbolischen Formen, I. T., 1923, S. 12, гумбольтовское понятие „внутренней языковой формы", которое он считает основным для философии языка, обобщает также до основного понятия философии мифа, религии, искусства и научного познания. К сожалению, у него это понятие соответствующему анализу не подвергается (см. и II. T., 1925). — В русской литературе понятие „внутренней формы" было подвергнуто аналогичному расширению и, если смею судить о собственной работе, обоснованию, еще раньше, и при том, как будет показано также в настоящей работе, применительно к сфере более обширной — ко всей философии культуры, как духовной, так и материальной.

[3]) Начиная с Шилера, но особенно у Шелинга. — Руководящие идеи Писем об эстетическом воспитании (особ. IX, XI, XII, XV сл.) давно считаются развитием идей Плотина; Вальцель настаивает на этом. Можно было бы показать, что основные философские предпосылки Писем об эстетическом воспитании высказаны уже в Фи-

чиная с Гердера, и всякому направлению, где метафора „организм", и аналогия с ним, вводятся для уяснения природы художественного творчества и его продуктов. Гете входит в это целое и идейно, и исторически [1]). По всей вероятности, то же можно и нужно сказать о Гумбольте. С тою разницею, что новое у Гумбольта легко отличить и выделить: это есть приложение термина к языку, он говорит о „внутренней языковой форме" [2]). Такое применение термина уже требует его переработки, и в общем предрешает ее направление: от метафорической расплывчатости и иррациональности к полной строгости и рациональности.

Рационализированное,—в противоположность иррациональному „органическому",—понятие внутренней формы естественно может быть возведено к Платону. Оно легко может быть истолковано, как одно из значений платоновского эйдоса, именно в смысле „прообраза", „нормы" или „правила". В эстетике Плотина, во всяком случае, мы встречаем уже не только понятие, но и самый термин „внутренняя форма". Плотин ставит вопрос, близкий к тому, который затруднял Гумбольта, — как телесное согласуется с тем, что не телесно? Как зодчий, сопоставив внешне данное здание с внутреннею формою здания, называет его прекрасным? Не потому ли, что внешне данное здание, если отвлечься от камней, и есть внутренняя форма (τὸ ἔνδον εἶδος, по переводу Фичино: intrinseca forma),

лософских письмах Шилера, составленных еще до решающего влияния Канта (см. „Теософия Юлия"). Мне представляется совершенно допустимым влияние Винкельмана,—ср. его Geschichte . . ., гл. IV, Об искусстве у греков, особ. S. 155—173 (цитирую по изд. Флейшера, 1913).— Даже у Канта встречается выражение „внутренняя форма" в философии органического (Кр. спос. сужд. §§ 67—68, S. 225—266 по изд. Б. Эрдмана), в смысле трудно отличимом от его же понятий „внутренней цели" и „внутренней организации".

[1]) Поэтому, правильны и ничего не говорят выводы Липольда: „трудно решить, откуда Гете заимствовал это выражение" („внутренняя форма") и „не исключена возможность, что Гете сам образовал это выражение" (S. 259). С наивозможною тщательностью Вальцель, в свою очередь, старается показать наличность и непосредственного знакомства Гете с Плотином, и посредства Бруно, Шилера, Шефтсбери. Надо думать, что и Вальцель прав.

[2]) Гумбольт пользовался термином и идеей „внутренней формы" также в эстетическом применении („Герман и Доротея"), но со значением крайне неопределенным, ср. Гайм, Гумбольт, стр. 138; см. ниже.— Пот (o. c, S. CCXXXII) отмечает, что у Гумбольта термину „внутрен-

разделенная внешнею материальною масою, но неделимая, хотя и воплощающаяся во многих явлениях [1]).

Эпоха Возрождения возрождает платонизм, и как реакцию против схоластического аристотелизма, и как положительное восстановление европейской философии. Можно сожалеть, что возрождение Платона шло под знаком Плотина, но факт остается [2]). И соответственное применение термина „внутренняя форма" мы встречаем у энтузиастического неоплатоника Возрождения Дж. Бруно. Бруно с неоднократными ссылками на Плотина и Платона во втором Диалоге своего трактата De causa etc., в связи с понятием прекрасного, но расширяя понятие формальной причины и формы до понятия космологического или органически-космического, противопоставляет внутреннюю форму внешней,—меняющейся и уничтожающейся,—как вечный и истинно сущий формальный принцип. Внутренние формы связаны у него с идеей „внутреннего художника" (Плотин!), оформляющего материю изнутри подобно тому, как изнутри семени и корня произрастает и развивается стебель и ствол [3]).

няя языковая форма" предшествовало выражение „внутренняя аналогия".

[1]) Enn. I, vi, 3. Подробный анализ ученья Плотина о внутренней форме см. в указанной статье Вальцеля о Плотине.

[2]) Еще печальнее, что и до сих пор толкование философии Платона не освобождено от гностически-мистических приварок Плотина, но с этим уже можно бороться. Восстановление подлинного Платона марбургской философией, может быть, не вполне удачно, как результат, но как начало, заслуживает одобрения. В сфере эстетики Вальцелю (ст. о Плотине, l. c, S. 33—34) удалось найти формулу, ясно выражающую противоположность Платона и Плотина: для Платона прекрасное явление есть отображение прекрасной идеи, след., прекрасного прообраза, недостижимого в пределах опыта, и для Плотина прекрасное явление—отображение чего-то более высокого, но это более высокое, лучшее, более подлинное, художник носит в своем духе. Это противопоставление улавливает как-раз ту тенденцию, в направлении которой Плотин искажает Платона. Платон—объективно-предметен, Плотин объективен только мистически, что́ в переводе на язык опыта приводит к психологическому субъективизму (сам Вальцель—пример). Детальное истолкование эстетических понятий Платона и Плотина см. в книге Jul Walter, Die Geschichte der Aesthetik im Altertum, Lpz. 1893, (на эту книгу опирается и Вальцель).

[3]) Ср. нем. пер. G. Bruno, Gesammelte Werke, v. L. Kuhlenbeck, Jena, Diederichs, 1906, B. IV, S. 49—63; ср. применительно к эстетике в том же изд. B. V, (Eroici furori), S. 140.—Гегель (Geschichte der Philos., III, S. 206) толкует „внутреннюю форму" у Бруно, как действие по целям рассудка, как внутренний принцип рассудка.

Нужно думать, что английский платонизм XVII века также не чуждался этого понятия, а потому появление термина у Шефтсбери не должно казаться неожиданным. На Шефтсбери же мы в праве смотреть, как на связующее звено между плотиновской и возрожденской эстетикою, с одной стороны, и немецким идеализмом, с другой стороны [1]). В The Moralists, a philosophical rhapsody (1709) [2]), Шефтсбери устанавливает, что красота—не в материи, а в искусстве, не в теле, а в форме или формирующей силе (forming Power); то, чем вы восхищаетесь, есть дух (Mind) или его действие, только один этот дух формирует. Наиболее прекрасны формы, обладающие силою создавать другие формы: формирующие формы (the forming forms). Можно установить три степени или порядка красоты: первый—мертвые формы (the dead forms), образованные человеком или природою, но не имеющие формующей силы, активности, интелигенции; второй—формы, которые формуют (the forms which form) [3]), они обладают интелигенцией, активностью, действенностью, они составляют нечто подобное жизни, их красота оригинальна, и только они сообщают красоту первому роду форм; и наконец, третий род — формы, которые формуют формующие формы, это—высшая или верховная красота. Последние и суть внутренние формы (the inward forms) [4]).

Гумбольт пользуется термином „внутренняя форма" первоначально также в контексте эстетическом. В XIX главе разбора

---

[1]) Cf. Arthur Drews, Plotin usf., 1907, S 309. Ср. также Ed. Spranger, W. v. Humboldt 1909, S. 164, 313 f.; на ряду с непосредственным влиянием Шефтсбери Шпрангер усматривает также посредство между Шефтсбери и Гумбольтом в лице Винкельмана и Гердера, Гариса, и даже Энгеля.—Вейзер (Chr. Fr. Weiser, Shaftesbury und das deutsche Geistesleben 1916, S. 253 ff.) категорически принимает, как результат новейших исследований по истории термина „внутренняя форма", что это „понятие немецкие поэты и эстетики приобрели от Шефтсбери".

[2]) Цитирую по 4-му изд. его Characteristics, Vol. II. pp. 405—408.

[3]) Это различение не может не вспомниться, когда мы встречаем у Гумбольта применительно к языку противопоставление: ein todtes Erzeugtes и eine Erzeugung (Введ. § 8 ab init.). Конечно, это может быть возведено к средневековым противопоставлениям: natura creans et creata (Иоан Скот Ериугена), natura naturans et naturata, воспроизводившимися и новыми (Бруно, Спиноза).

[4]) Ср. также (в том же изд.) Vol. I, p. 207, III, p. 184, 367. Подробности см. Weiser, l. c.

„Германа и Доротеи“ [1]) он определяет поэзию, как искусство языка (die Kunst durch Sprache), и затем развивает свою мысль: язык есть орган человека, искусство—зеркало окружающего его мира, так как воображение, вслед за чувствами, влечется к внешним образам. Поэтому, поэзия непосредственно создается, в смысле более высоком, чем всякое другое искусство, для двух совершенно различных предметов, — „для внешних и внутренних форм, для мира и человека“. В обоих случаях она должна преодолеть трудности языка и наслаждаться тем, что язык, а значит, и идея, есть тот орган, посредством которого она действует. Если она выбирает своим объектом внутренние формы, она находит в языке совершенно особую сокровищницу новых средств. Ибо здесь—единственный ключ к самому предмету; фантазия, обычно следующая за чувствами, должна тут примкнуть к разуму (muss sich nun an die Vernunft anschliessen). И если дух здесь уже увлечен величием предмета, то искусство должно подняться еще выше, чтобы здесь господствовало воображение, хотя оно имеет дело не с ощущениями, а с идеями, и, след., скорее интелектуально, чем сентиментально. Всякий истинный художник относится к одному из двух типов: он бывает более склонен или заявить право индивидуальной природы языка на то, чтобы быть искусством, или выявить индивидуальную природу искусства через посредство языка, другими словами, или сообщить форму и жизнь безóбразным, мертвым мыслям, или образно и наглядно поставить перед воображением живую действительность. Во внешних формах мы имеем дело с совершенною наглядностью, во внутренних—с всеохватывающею истиною [2]).

Рассуждение Гумбольта—не очень ясно, но всé же оно делает понятным перенесение понятия „внутренней формы“ в область языка вообще, особенно если вспомнить собствен-

---

[1]) Вышло в 1799 г. под заглавием Aesthetische Versuche. I. Teil. (Ges. W., B. IV, 1843, S. 59—62). Названная глава имеет в виду, повидимому, Шилера.

[2]) S. 138 по тому же изд. — Функе, о. с., S. 113 ff., прослеживает развитие идеи „внутренней формы“ в лингвистических сочинениях Гумбольта и игнорирует тот факт, что идея и термин уже встречаются в только что названной работе Гумбольта, его утверждение (S. 111, 119), будто выражение „внутренняя форма“ впервые встречается у Гумбольта в его знаменитом Введении, как увидим и дальше, совершенно ошибочно.

ное Гумбольта сопоставление языка с искусством. „Вообще, — говорит Гумбольт (Введ. § 12),—язык часто, а в особенности здесь [т.-е. в „синтезе двух синтезов"], в самой глубокой и необъяснимой части своих приемов, напоминает искусство". Это напоминание предполагает некоторое сходство между языком и искусством, понятное лишь на фоне того различия, которое существует между ними. Различие это, по Гумбольту, основным образом состоит в том, что, в то время как язык есть функция, тесно связанная с рассудком, можно сказать, дело самого рассудка [1]), искусство есть дело и функция воображения. Поэзия, как искусство слова, таким образом, оказывалась живым противоречием, разрешение которого и представлялось Гумбольту первым вопросом эстетики, и из приведенных рассуждений Гумбольта видно, как он сам разрешал это противоречие. Что касается теперь сходства, то,—кроме общих положений о наличии в обоих случаях деятельности духа, „энергии", итп.,— оно создается, прежде всего, общностью приемов. Однако, надо признать, такое сходство — слишком отвлеченно, и оно только углубляет противоречие, присущее поэзии, а если вдуматься лучше, то присущее и всякому искусству [2]), а с другой стороны, и языку, как такому. В последнем это противоречие так же изначально, как во всякой другой сфере реализации и объективации духа,—в самом деле: с одной стороны, самодеятельность и свобода его, а с другой стороны, связанность и зависимость от реальных условий создающего язык народа [3]). В сущности, это—то самое основное и фатальное противоречие между свободою и необходимостью, преодолению которого часто придается слишком много значения. Противоречие поистине хамелеонной природы! Оно напоминает известные впечатления от чертежей, воспринимаемых попеременно—то в сторону выпуклости, то в сторону впалости. Чтобы не выходить из сферы языка, вспомним в качестве иллюстрации споры древних о про-

[1]) В той же гл. XIX (S. 59): „Sie [определение поэзии] soll den Widerspruch, worin die Kunst, welche nur in der Einbildungskraft lebt und nichts als Individuen will, mit der Sprache steht, die bloss fur den Verstand da ist, und alles in allgemeine Begriffe verwandelt,— — —".

[2]) В том же § 12, после цитированной фразы, в пример приводится даже не поэзия, а скульптура и живопись, задача которых—в том, чтобы сочетать идею с веществом (die Idee mit dem Stoff).

[3]) См. Гумбольт, Введение, § 2 (S. 21), ср. примечания Пота, S. 427 f

исхождении языка: νόμῳ или φύσει, по „принятости“ или по „природе“? По природе—значит, необходимо, а по закону—по свободно принятому соглашению, но выпуклое становится вогнутым: по закону, значит, необходимо, а по природе—случайно! [1]) Аналогично у Гумбольта только что указанная форма может быть заменена другою: законы разума и рассудка, с одной стороны, и случайная чувственная, звуковая оболочка слова, с другой.

У Гумбольт по своему разрешает это противоречие в обоих конкретных случаях: в поэзии и в языке. В поэзии, как будто, два пути, два типа поэтов: мертвым мыслям форма сообщает жизнь или живая действительность непосредственно передается воображением. Однако, сам Гумбольт делает оговорку,—первое—более характерно для поэзии, выделяет ее из круга других искусств, указывает на ее более интимную и собственную сущность, заставляет говорить о „поэте в более узком смысле“ (H. u. D., S. 61). Здесь собственно—действительное единство внутренних и внешних форм поэзии. Тем же путем Гумбольт идет и в языке: он ищет синтеза синтезов чувственного и мыслительного. И здесь,—хотя вообще он хочет отличить собственно мысленное (отвлеченно-логическое) от внутренней языковой формы,—как только он сопоставил язык с искусством, он прямо говорит о „необходимом синтезе внешней и внутренней языковой формы“ (§ 12, S. 116). Это значит, если держаться усмотренного Гумбольтом сходства между языком и искусством, и строить на его почве обобщение, что языковые внутренние формы должны быть отожествлены с формами логическими. Введение посредства здесь—искусственно, и необходимо констатируется, как неудача. Признание этой неудачи, как мы видели, обнаруживает тотчас и источник ее: проблема синтеза синтезов возникла из насильно расторгнутых чувственности и рассудка, т.-е. из насильно созданного противоречия. Чувственность и рассудок, как, равным образом, случайность и необходимость,—не противоречие, а корелаты. Не то же ли и в искусстве, в частности в поэзии: воображение и разум, индивидуальное и общее, „образ“ и смысл,—не противоречие, а корелаты. Внешняя и внутренняя формы—не противоречие, и

---

[1]) См. об этом занятном споре H. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Romern, 1863, S. 42 ff.

взаимно не требуют преодоления или устранения. Они разделимы лишь в абстракции, и не заключительный синтез нужен, нужно изначальное признание единства структуры.

Какой же тогда смысл имеет „обобщение" Гумбольта, дававшее ему право говорить о внутренней форме языка по аналогии с искусством? Можно представить себе задачу так: или язык с п л о ш ь есть некоторое искусство, или язык есть нечто sui generis,— что́, как задача, есть некоторое X,— плюс особая часть, член в нем, определяющийся, как искусство (поэзия). Утвердительный ответ на вторую часть дилемы — общепринятое, кажется, мнение. Принятие первого члена дилемы может показаться парадоксом, но и оно имеет в настоящее время своих представителей (Кроче, Фослер). Мненье Гумбольта — третье: он различает язык и поэзию, лингвистику и эстетику, но видит между ними а н а л о г и ю, основою которой является признание наличия, с одной стороны, внутренней языковой формы, и, с другой стороны, внутренней поэтической формы, также языковой, конечно, но специфической, быть может, модифицированной по сравнению с первою.

Задача дальнейшего изложения не столько в том, чтобы показать колебания и поиски Гумбольта, сколько в том, чтобы интерпретировать его колебания с целью извлечь из его идеи положительное значение, которое могло бы быть принято в современную науку.

Первоисточником всех неясностей в учении Гумбольта о внутренней языковой форме явилось его неотчетливое указание м е с т а, занимаемого внутреннею формою в живой структуре слова. Понятие я з ы к о в о й ф о р м ы, как такой, установлено, казалось бы, Гумбольтом точно. Ясен и предмет, который при этом имеется в виду. Это — не та или иная часть языковой структуры, не какой-либо отвлеченный или условно взятый элемент языка, и не то или иное случайное эмпирическое языковое проявление, а язык, как он есть „в своей действительной сущности" (in ihrem wirklichen Wesen) (§ 8, S. 55), и данный нам „в образе органического целого" (in das Bild eines organischen Ganzen, ib.). Язык в этом смысле — нечто текучее и ежемгновенно преходящее. Он есть деятельность, „энергия", постоянная работа духа, направленная на то, чтобы сделать артикулированный звук способным к выражению мысли (S. 56). Поскольку эта работа осуществляется некоторым постоянным и

единообразным способом, постольку мы и говорим о формах языка (S. 57).

Форма, след., есть постоянное и единообразное в действии энергии, т.-е. под формою следует разуметь не выделяемые в абстракции шаблоны и схемы, а некоторый конкретный принцип, образующий язык. Формы в этом смысле не могут быть представлены на подобие пространственно-чувственных запечатлений геометрии, или на подобие формул алгебры, а в лучшем случае могут быть лишь формулированы на подобие правил математических действий, т.-е., как указание некоторой совокупности и последовательности приемов, „методов“ осуществления „энергии“, объединенных своим разумным достаточным основанием (ratio).

На этом следует остановиться в определении языковой формы, если мы желаем найти ей применение в современной науке, ибо здесь — граница методологически-формального понимания термина „дух“. Дальнейшее толкование его у Гумбольта — явно метафизическое. Но не нужно придавать термину Гумбольта и слишком плоского значения. Не нужно понимать его, как простое обобщение граматического употребления слова „форма“. Гумбольт имеет в виду язык, как такой, а не прагматически упрощенный предмет учебных граматик. Гумбольт не даром сопровождает свое определение предостерегающими оговорками в этом смысле. В формах языка, подчеркивает он, здесь не имеется в виду так называемая граматическая форма, потому что различие между граматикою и словарем служит только практической цели усвоения языка, и не может предписывать ни границ, ни правил истинному изучению языка. Понятие языковой формы простирается за пределы словосочетания и словообразования, поскольку под последними разумеется применение общих логических категорий действия, субстанции, свойства, итд. Оно применимо в особенности к образованию основных слов, и должно по возможности применяться к ним, если мы хотим сделать доступной познанию самую сущность языка (§ 8, S. 59).

Форма, по своему понятию, т.-е. со стороны своего смысла и своих форменных качеств, может быть сделана предметом самостоятельного изучения, но реально она существует только в своей материи. Со времени Канта стало популярным другое толкование смысла понятия „форма“, согласно которому

между формою и содержанием существует неотмыслимая корелация. Поэтому, и Гумбольт, для уточнения определенного им термина, тотчас же устанавливает соответствующее звуковой форме содержание. Пока мы имеем дело с данными и граматически осознанными языками, перед нами переходящие отношения: то, что в одном отношении — форма, то в другом отношении — содержание (склонения и имена существительные). Чтобы найти содержание в устанавливаемом здесь смысле, надо взять язык в его „органическом" целом. Для этого нужно, как говорит Гумбольт, выйти за границы языка, потому что в самом языке мы не найдем неоформленной материи (§ 8, S. 60).

И это также общий принцип: содержание, как чистую материю, в противоположность форме, мы не в состоянии сделать предметом изучения. Чистая материя есть чистая абстрактность и несамостоятельность. Об ее конкретных свойствах так же мало можно сказать, как об всякой отвлеченности, о „бытии", „возвышенности", итп.,— если, конечно, мы не собираемся гипостазировать такое понятие в некий метафизический абсолют. Материя необходимо мыслится оформленною. В противопоставлении форме материя только относительно чиста, а не безусловно. Нет, поэтому, другого средства получить, методологически иногда необходимую, „чистую" материю, как помыслить ее за пределами той системы форм, в пределах которых помещается предмет нашего изучения. Раздвинув рамки системы, мы тем самым релативизуем и условно допущенную „чистую" материю. Только таким способом можно получить, хотя бы условно, — (иначе выразиться невозможно), — безусловную материю.

С двух сторон Гумбольт ограничивает языковые формы и, след., указывает возможную „условно безусловную" материю языка. С одной стороны, это — звук вообще, с другой стороны, совокупность чувственных впечатлений и самодеятельных движений духа, предшествующих образованию понятия с помощью языка (§ 8, S. 60). Такое определение способно вызвать сомнения двоякого порядка: во-первых, по поводу его „идеалистической" тенденции, во-вторых, по поводу отвлеченной разделенности двух указанных „сторон". Язык, гласит это определение, как действенная форма, с одной стороны, оформляет звук, делая его членораздельным, с другой стороны, он оформляет весь опыт человека, его переживания, формируя их в понятия. Но одно из двух:

в обоих случаях „материя" понимается Гумбольтом либо в смысле объективных „вещей" (реализм), либо в смысле субъективных данных переживания (идеализм). В первом случае — не видно, зачем и почему из общего потока чувственных впечатлений и спонтанных актов выделена особая их группа („звуки") с особенными правами и обязанностями. Или другая группа не отличается принципиально от первой, и весь поток переживаний непосредственно дан, а больше ничего нет (феноменализм), и тогда не должно бы и возникать проблем знака, значения и самого языка. Или, тому, что „предшествует" в самом переживании „понятию", предубежденно приписывается особая сила, значимость или действительность (трансцендентизм), и тогда не понятно, каким образом эта действительность проникает, как содержание, в понятие и язык. Оба допущения должны быть отвергнуты. Именно наличием языкового мышления опровергается феноменализм, и в его сенсуалистической форме (нелепая немая статуя Кондильяка), и в его идеалистической форме (не менее нелепый немой професор на кушетке Э. Маха), опровергается самим фактом бытия значащих „ощущений" среди прочих „ощущений". Этим же фактом опровергается и трансцендентизм: наличием „смысла", никак не нуждающегося в субстанциальной или причинной трансцендентной подставке.

Непредвзятый анализ пошел бы иным путем. То, что мы непосредственно констатируем вокруг себя, когда выделяем из этого окружающего язык и стараемся разрешить его загадку, есть, конечно, наш опыт, наши переживания, но не пустые „звуки", „впечатления", „рефлексы", а переживания, направленные на действительные в е щ и, предметы, процесы в вещах и и отношения между ними. Каждою окружающею нас вещью мы можем воспользоваться, как знаком другой вещи,— здесь не два рода вещей, а один из многих способов для нас пользоваться вещами. Мы можем выделить особую систему „вещей", которыми постоянно в этом смысле и пользуемся. Таков — я з ы к. Пользование им для нас в этом анализе изначально, потому что, как только мы к нему приступили, мы начали именовать „вещи" „нас окружающими вещами", „нами", итп. Именуя вещи, (хотя бы простым указанием или условным звукосочетанием „это", „то", „там", итд.), мы о них говорим, думаем, и нашу речь о них понимаем, т.-е. в своих словах видим смысл, кото-

рым вещи объективно связаны в многообразные отношения и системы. Простое называние вещей, простое обозначение их, устанавливает для нас нерасторжимое единство условного знака (с его системою) и (связующего вещи в систему) понимаемого смысла этого знака.

Положение, в которое Гумбольт поставлен своим разделением, создает для него еще одно неодолимое препятствие. Если „образованию понятия с помощью слова" предшествуют только чувственные впечатления и спонтанные рефлексы, то как же образованные затем „понятия" станут понятиями о вещах? Придется создавать новых „посредников" в виде „представлений", „схем", итп.,—бесцельных, ненужных, беспомощных в осуществлении той самой цели, для которой они призываются. Понятие „внутренней формы" может здесь подвергнуться серьезной угрозе, так как и она может быть вызвана в качестве такого „посредника".

Вторая неточность определения языковой „материи" у Гумбольта—в его категорической отвлеченности. Гумбольт берет оба указанные им предела, не как конкретные члены единой в сознании структуры, выделяющей языковые формы самим своим строением, а как строго очерченные грани,—как бы „верх" и „низ",—между которыми, как поршень в насосе, работает формообразующее языковое начало. На деле, материя языка функционирует в нем, как питательные соки—в растении. Трудно точно установить, когда запредельная растению влага превращается в его сок, и когда она в его дыхании и испарении выходит за пределы его форм. В самих его формах она пульсирует неравномерно и с неравною силою. В одних частях и органах она иссякает, другие переполняет. То слишком обильно языковое содержание, так что данная форма,—а, может быть, и никакая форма,—не справляется с ним, то оно уходит почти без остатка, оставляя от языка одну сухую схематику, мертвеющий остов речи. О материи языка, как „пределе", можно говорить, но только с большою осторожностью, ни на минуту не забывая, что, если мы не хотим остаться с пустым предельным нулем, мы должны оперировать с этим понятием, как мы оперируем в исчислении бесконечно малых. Понятие предела—плодотворно, когда мы приближаемся к нему как-угодно близко, и здесь методологически предусмотрительно наблюдаем, как же отражается внутренняя

жизнь того, что заключено в пределы, на границе его перехода в небытие или в другое бытие. Поставив по краям нули. Гумбольт сразу перешагнул, в двух местах, границы исследуемого предмета: языка. С одного края оказывается „звук", с другого — „чистое мыслительное содержание", — одно от другого безнадежно оторвано. Мы видели, какие трудности заключаются в искусственно, таким образом, созданной проблеме синтеза двух оторгнутых друг от друга синтезов. Но мы видели также, что, если подойти к „звуку" в предельном моменте его превращения в „членораздельный звук", мы в самом этом превращении, — как то и подметил Гумбольт сам, независимо от своих определений, а в наблюдении действительно живого языкового процеса, — открываем готовую интенцию быть выражением мыслительного содержания. Последнее дано непременно с первым, — как бы цель и средство, — и без первого его, в свою очередь, просто-на-просто нет. Само оно, мыслительное или смысловое содержание, оснащенное оформленным звуковым содержанием, в свою очередь, раскрывает свою интенцию объективного осмысления, т.-е. осмысления, направленного на предельный предмет, разбрасывающийся, раздробляющийся, расплескивающийся в многообразии вещей, процесов и отношений так называемого „окружающего нас мира", вместе с нами самими в нем, а также отношениями и процесами в нас и между нами.

Итак, два значения термина „материя языка" можно понимать в смысле двух мыслимых пределов, реально известных нам только в своей оформленности. Поскольку мы говорим о форме по отношению к так понимаемой материи, мы можем толковать самое ф о р м у — формально, как некоторое отношение между двумя терминами-пределами, или реально, как языковую энергию, образующую языковой поток в некое структурное единое целое. В зависимости от того, какой из терминов отношения мы берем в анализе языка за исходный (terminus a quo), и какой — за конечный (terminus ad quem), мы можем изображать форму языка двояко. Разделение форм — внешней и внутренней — совершенно удовлетворительно намечает два возможных движения. И если бы дело обстояло, действительно, так, как кажется Гумбольту, т.-е. мы имели бы, с одной стороны, звук вообще, а с другой стороны — совокупность чувственных впечатлений, то изображением этих двух тенденций языкового созна-

ния, может быть, и ограничивалась бы вся проблематика языковой структуры. На деле мы видим иное. „Звук", как языковой факт, в своих формальных особенностях, проявляется чрезвычайно разнообразно. Гумбольт сам намечает таблицу: граматические формы, словосочетание и словопроизводство, образование основ. Как известно, изменение термина меняет и отношение. Вся эта таблица должна найти свое отображение в другом термине — на внутренней форме. С другой стороны, мы говорим не о комплексах чувственных впечатлений, а о самом предметном мире. Не касаясь вопроса о содержании его бытия, так как всё оно будет дано нам уже в языковых формах, а за пределы этих форм, очевидно, с помощью языка выйти нельзя[1]), мы только констатируем разнообразие модификаций бытия этих предметов. Это одно уже заставляет нас признать „энергию" языка, resp. его формы, неоднородными, а многовидными,— подобно тому, как питание организма дает многовидные формы кровеобращения, лимфатической системы, многообразных секреций, итп. Тот же результат получится, если мы непосредственно обратим свою рефлексию на само языковое сознание: акты представления, воображения, рассудка,— соответственно формам бытия предметов действительных, воображаемых, идеально-закономерных, — делают из него пеструю ткань, заставляющую нас понимать то, что мы до сих пор просто называли „языковою формою", как форму, объединяющую неопределенное число, еще подлежащих исследованию, структурных форм.

Из всего этого и следует, что, пока собственное место того, что Гумбольт называет „внутренними формами", точно не указано, вопрос о нем всегда будет служить, как сказано выше, первоисточником многочисленных неясностей и недоразумений. Конечно, и проблема внешних форм далеко не разрешена простою номенклатурою их, взятою просто из истории науки (граматические формы, словосочетания, итп.). Но все же сама номенклатура уже служит, до известной степени, предо-

[1]) Эта общая формулировка не должна быть понимаема в том смысле, будто я допускаю внеязыковое (в языке не объективирующееся) мышление. Но само собою разумеется, что есть внеязыковое сознание,— хотя знание о нем необходимо выражается в языке,— только в этом смысле я и говорю здесь о содержании бытия и переживаний за пределами языка.

хранением против смешения звуковых форм языка с звуковыми формами внеязыковыми,— во всяком случае, в идее здесь различение все-таки намечается. В ином положении остается понятие внутренней формы. А потому наш вопрос и формулируется так: *какие значения могут быть вложены в понятие внутренней формы?*

За руководящие определения примем следующие указания, подготовленные предыдущим изложением: (1) — *отрицательное*,— внутренняя форма не есть чувственно-данная звуковая форма, и не есть так же форма самого мышления, понимаемого абстрактно, как не есть она и форма предмета,—конституирующего мыслимое содержание какой бы то ни было модификации бытия,—предмета, также понимаемого абстрактно, и (2)— *положительное*,—но внутренняя форма пользуется звуковою формою для обозначения предметов и связи мыслей по требованиям конкретного мышления, и при том, она пользуется внешнею формою для выражения любой модификации мыслимого предметного содержания, называемого в таком случае смыслом, настолько необходимо, что выражение и смысл, в конкретной реальности своего языкового бытия, составляют не только неразрывное структурное единство, но и в себе тожественное sui generis бытие (социально-культурного типа)[1]).

[1]) Поэтому, противопоставления: выражение - смысл, объективирование мысли, обнаружение духа, итп., следует брать, как пары, диалектически подвижные, и в то же время, как синтетически единое, т.-е., как понятия, образованные по типу: „мать-мачеха“ (Tussilago Farfara), „богочеловек“ (Logos), „человек-зверь“ (Monstrum), „психофизика“, итд.

Итак, какое же м е с т о занимает внутренняя форма в строении языка? Если мы обратимся к намеченным выше „пределам", то в порядке научного ве́дения различными членами языковой структуры, в качестве п р е д е л ь н ы х дисциплин, мы должны получить, с одного конца, фонетику, а с другого—семасиологию. Ф о н е т и к а лежит у предела лингвистики, поскольку фонетические формы вообще, а в особенности в порядке своего изменения, стоят в некотором отношении к смыслу слова. Это отношение может быть в высшей степени неопределенным, но оно должно быть признано, если только мы вообще признаем хотя бы наличие фонетических изменений в связи с формальными или смысловыми изменениями в жизни слова. Такие изменения могут быть непосредственно даны хотя бы лишь со стороны экспресивной функции слова, но раз они даны, то независимо от того, как мы толкуем связи, в свою очередь, экспресивного и смыслового, они не оторваны от жизни языка в целом. Это ясно само собою для того, кто в содержание фонетики включит не только отвлеченную статику и отвлеченную класификацию звуковых „элементов", но, имея в виду их связные изменения, введет в нее также учение о паузах, акцентуации, эмфазе речи, тоне, итп., цельные и живые речевые фонемы, где сама „цельность" уже не может быть безоговорочно оторвана от смысла. Фонетика, так. обр., становится на границе между лингвистикою и естественными науками. Подлинно запредельным для лингвистики останется то, что относится к ве́дению акустики и физиологии.

Другою запредельною для лингвистики областью надо признать онтологию, как формальное учение о всяком предмете. Поскольку предмет не только пребывает, как идеально мыслимый или воображаемый предмет, но также существует в осуществлении вещного многообразия, у него есть свое мыслимое

содержание, которое и переходит в смысл словесного его обозначения. Изучение этого перехода предполагает, след., обращение, с одной стороны, к объективному (предметному) содержанию и его осуществляемости в реальных вещах, т.-е. предполагает пограничную материальную область лингвистики семасиологию, и в качестве запредельных областей — историю культуры во всем ее объеме, как она открывается нам средствами филологии. С другой стороны и вместе с тем, перед нами открывается поле словесно-смысловых форм, организующее предмет и содержание в смысл. Проблему отношения этих форм к онтологическим мы оставим в стороне так же, как и проблему отношения форм фонетических к акустическим. Таким образом, с точки зрения традиционного деления сфер изучения языка, остаются, как будто, еще только две области чистого языковедения: область форм „морфологических“ и форм „синтаксических“, куда надо присоединить и „стилистические“ формы, безразлично, будем ли мы их понимать, как формы только экспресивные [1]), или, как формы вместе с тем организующие, но субординированные логически-смысловым.

Входить в подробности вопроса об взаимном отношении морфологии и синтаксиса здесь не место. В целях последующего достаточно ограничиться следующими замечаниями, отнюдь не предвосхищающими конечного разрешения вопроса. Некоторые опыты класификации форм морфологических и синтаксических обнаруживают в настоящее время неуменье, а иногда и нежеланье, различать одни формы от других иначе, как по их применению или по „точке зрения“ научного изучения их. Повод к тому, конечно, есть,—в звуковом отношении мы часто имеем дело здесь с тожественными „вещами“. Но в то же время сами сторонники отожествления обоих видов форм не скрывают их различия, они только не умеют довести их до степени принципиальной. Различения, основанные на практической (педагогической) полезности двух типов класификации могут не иметь теоретического значения. Практика может ставить какие ей угодно задачи и может требовать от теории их решения, но решает их сама теория и не по практическим соображениям. Для теории решение вопроса здесь может состоять или в том,

[1]) К чему ведут тенденции Кроче, Фослера, и с другими предпосылками—Байи (Ch. Bally).

что разница тех и других форм обнаруживается принципиально, т.-е. пункты различия принимаются, как существенные признаки каждой из них, или доказывается, что все их различие есть различие только „точек зрения", „аспектов", „применений", или, что также должно иметь свое объективное основание, но это последнее не обязательно состоит из существенных элементов целого. Если разница между ними—в том, как иногда приходилось слышать, что одни формы суть формы языка в его статике, а другие—в динамике, то это—понятно и правильно лишь при условии, что мы согласились мыслить морфологию в образе статики, а синтаксис—в образе динамики, т.-е. согласились называть неизвестные нам вещи новыми именами.

Более серьезный характер имеет утверждение, сводящее разницу между рассматриваемыми формами к тому, что морфология изучает формы „отдельных [?] слов" в их отношении к другим однородным формам, а синтаксис—по их положению в „словосочетаниях", в которые они входят. Едва ли, однако, можно признать такое различение принципиальным, пока не показана принципиальная разница между „отдельным словом" и „словосочетанием", а думается, что таковой и нету [1]). Весь вопрос может быть поставлен так: если у морфологии найдется хотя бы одна проблема, которую синтаксис, как такой, не берет на себя, то надо уметь найти и принципиальное раз-

---

[1]) В тексте имеются в виду определения Н. Н. Дурново, Грамматический словарь, 1924, стлб. 101 сл., воспроизводящие определения Фортунатова (ср. литографированный курс „Сравнительного языковедения", читанный в 1897—8 г., стр. 270—1). Однако, у Фортунатова есть и другое различение словесных форм, более дистинктное и более способное к принципиальному углублению. Это, во-первых, формы слов, как отдельных знаков предметов мысли,—они обозначают различие в самих предметах мысли, и, во-вторых, формы слов, как частей предложения,—они обозначают различия в отношении одних предметов мысли к другим предметам мысли в предложении (стр. 209). Это разделение подчеркивает, на мой взгляд, важное различение номинативной функции слова от чисто сигнификативной.—А. М. Пешковский также исходит из определений Фортунатова, и в одной из своих статей, детально анализируя „формальные принадлежности" „отдельных слов" и „словосочетаний", намечает „существенные различия" в этих двух типах „единств", различия, побуждающие его отрицать „полную аналогию между словом и словосочетанием" (Сборник статей, 1925 г., ст. „В чем же, наконец, сущность формальной граматики", стр. 20) Здесь много поучительного и для установления различия форм морфологических и синтаксических.

личие между ними. Такая проблема есть: прежде всего, само словообразование [1]), независимо, конечно, от генетического объяснения его. И vice versa — о синтаксисе, где имеются не только формы, морфологически не обозначаемые (интонационно-мелодические, порядка слов, напр.) [2]), но принципиально подчиненные требованиям смысла, логики, эстетики, риторики. Морфология вовсе не знает некоторых самых элементарных различений синтаксиса, в роде, напр., таких языковых явлений, как разнообразное употребление морфологически тожественных форм „падежей" (genetivus partitivus, subiectivus, obiectivus, etc.), таких явлений, как consecutio temporum, и мн. др.

Если всмотреться во все такого рода особенности синтаксических форм, в их отличии от форм морфологических, то нельзя не заметить некоторой нарочитой связанности форм синтаксических с формами логическими и через них со с м ы с л о м. Логика, не как логистика („теория знака"), а как методология, е с т ь логика научного и з л о ж е н и я (описания, объяснения, доказательства, итд.), для которого необходимо нужен, если не эмпирический синтаксис данного языка данной эпохи, то, во всяком случае, синтаксис „идеальный" („философская грамматика"?). Такая логика есть логика смысла. Поэтому, и синтаксис своими основаниями обращен в сторону „предела" семасиологического. Напротив, формы морфологические обращены своим основанием в сторону фонетики и звукового предела. Как звуковые формы, они относятся прямо к предмету (вещам) и его отношениям, лишь как приметы или именования, „клички". Строго говоря, след., морфологические формы, сами по себе, т.-е. не в их синтаксическом применении, значений и смысла не имеют, его не означают, не выполняют сигнификативной функции, и resp., непонятны (сами по себе).

В таком освещении легко увидеть, как различие между

---

[1]) Дурново, ib, стлб 109. При более углубленном анализе можно было бы показать, что само словообразование поддается толкованию аналогично образованию словосочетания,—одно к другому относится, как форма implicite к форме explicite (подобно тому, как „понятие" считается „суждением" implicite, а „суждение" — „понятием" explicite); mut. mut. и в отношении корневой морфемы к основе. Конечно, это не связано с генезисом морфологических форм (как, напр., у Бругмана: развитие словообразования и флексии из композиции).

[2]) Ср. Пешковский, о. с, стр. 20—23.

обоими видами форм становится принципиальным. При первоначальном наблюдении это различие скрадывается тем, что в живой речи мы знаем морфологические формы только в синтаксическом употреблении, а синтаксические знаем в морфологической закономерности внешнего запечатления. Анализ различает два указанных направления.

Насколько ясна обусловленность синтаксической формы смыслом, настолько же должно быть ясно и то, что по отношению к морфологическим формам сама синтаксическая форма может, в известном аспекте, рассматриваться, как „материя" (напр., именительный падеж, как форма подлежащего, винительный — дополнения, творительный — творительного независимого, итп.) [1]). Вообще ведь само слово есть некоторая „вещь", имеющая свои оптические формы, с ним присущим о с о б ы м содержанием, которое входит, как смысл, в особые слова: слова-знаки о словах-вещах. Эти слова, так сказать, второго порядка (супозициональные предикаты), будут подчиняться тому же синтаксису и той же логике, что и слова о других окружающих нас вещах. Но они требуют, конечно, для своего отличия особого и м е н о в а н и я. Морфологические формы суть такого рода слова-знаки слов-вещей. К а к в е щ и, о н и изучаются в порядке онтологическом (синтаксис!) [2]), т.-е. по своему предмету и содержанию.

[1]) Имею в виду „знак" „именительного падежа" итд. („-а", „-о" „-us"..), так как сам „именительный", итд., могут быть формальной проблемой синтаксиса.

[2]) Это — одна сторона синтаксиса: интенционально-экспресивная („стилистическая", по преимуществу) роль форм „словосочетания", Eindruck; другая: логически-упорядочивающая, Ausdruck, изучает слово-вещь, не как такую, а как знак, относящийся к смыслу и, след., направляемый логикою (внутренними формами слова) в его собственных формообразованиях. Их отношение — особая проблема, которая может быть решена в след. направлении: a) первая сторона поглощает вторую до уничтожения (афект, глосолалия, итп.), b) вторая поглощает первую до уничтожения (логистика, счисление, итп.), c) смешение их, более или менее уравновешенное, но с преобладанием первой стороны (поэзия, риторика) или второй (наука),—особенность преобладания первой состоит в след.: слова-вещи суть живые, энергические вещи, живущие в обществе таких же слов-вещей, составляющих в совокупности язык народа и эпохи, и выражающих соответствующее „мировоззрение", контекст которого определяет для данного слова и его особый смысл, понимание которого превращает его, в наших глазах, в слово-знак этого смысла Введенный уже в этом новом качестве в связанный контекст данного кон-

Их категориальные определения, устанавливающие их собственный смысл, суть, „классы" морфологических форм („имя существительное", „глагол", „родительный падеж", „деепричастие", итд.)[1]). Вне морфологии,—вне системы супозиционально-смы-

кретного, сейчас интенцируемого „словосочетания", он вступает со смыслом (логическим) последнего в гармонию (или расходится с ним), отчего и получаются новые формальные отношения между ними („поэтические"). специфицирующие характер речи преобладанием одной из указанных сторон

[1]) Категории синтаксические („подлежащее", „дополнение", „ablativus absolutus", итд.) суть категории не смысловые, а суть категории самых знаков („независимости", определенного „подчинения", „согласования", итп.). Напр., морфема „-ого" есть название, примета, знак, кличка некоторой слово-вещи: „genetivus", смысл которой и есть смысл термина genetivus, т.-е. смысловая категория морфологии и, след., свой смысл морфемы, который, как такой, сохраняется только в пределах пользования этой категорией, т.-е. только в пределах морфологии, а за ее пределами морфемою пользуются только как приметою. Поэтому и в синтаксисе морфологическая форма „-ого" есть только знак, примета, без этого смысла и вообще без смысла,—(поскольку „знак", „признак" вещи не есть вообще ее смысл),— т.-е., как всякий „признак", сама уже—„вещь" (ens, как признак другого ens, его „часть", „момент", „сторона", итп.), находящаяся в отношениях и связях с другими „вещами" того же („слово-вещного") порядка, но, становясь, в свою очередь, значащим, осмысленным знаком (словом-знаком), она означает, указывает на смысл, в порядке вещей гетерогенном, напр., в окружающей нас действительности. Так, „„—ого" есть знак род. п." (род. п. есть слово-вещь со смыслом. „casus genetivus"), предмет, являющийся носителем этого смысла находится в словосочетании, напр., „не вижу ник-ого", этот „предмет" есть „отношение" под названием „дополнение", превращение коего в осмысленный знак (перемена „установки", переход в новый „план" или „порядок", „реальная" супозиция на место „упорядочивающей" и „поминальной") заставляет указывать на некоторую модификацию реального бытия. Супозиции нет, если мы скажем: „„—ого" есть подлежащее предложения: „ого" — знак род. п."",—здесь смысл—в пределах морфологии, язык которой подчинен тому же синтаксису, что и язык всякого слова, указывающего вещь; синтаксис здесь эту вещь вставляет в контекст, подчиненный морфологическим категориям. Сказать: „„ого" есть фонема" или „„ого" есть сочетание букв", значит для синтаксиса заменить вещь прежнего словосочетания новою, ибо эта вещь — „subiect", а та была „дополнением"; новая вещь и как „знак" осмысленный — нова, ибо разные контексты сообщают ей разный смысл. Да и с точки зрения морфологической тут, при случае, можно говорить о новой морфеме, даже о превращении ее из „приставочной" в „корневую" (быть может, напр., „ово", „ового", „овому"...).

словых категорий морфем, — морфемы — лишь приметы, имена без смысла, клички, sui generis вещи (entia).

Как известно, в морфологии существует разделение морфем на корневые и приставочные. Возможный генезис приставочных из корневых, смена в языках т. наз. аглютинирующих, как и известное лингвистам первоначальное значение некоторых приставочных морфем во флективных языках (нем. drittel: tel—Theil, freundlich lich—leika [чит. lîka], укр. знати-му: знатимам, итд.),—всё это объясняет, быть может, кое-что, но тем самым не устраняет разделения, а лишь подчеркивает его. Здесь мы имеем дело с исторической иллюстрацией перехода осмысленных „слов" в лишенные реального смысла признаки и приметы, что̀ указывает на их принципиальное в идее различие. Но в то же время, само собою разумеется, эти факты подтверждают, что разделение морфем корневых и приставочных— относительно. Значит, допустимо и обратное: употребление приставочной морфемы, как корневой („надоели нам все эти и с т ы", „от и з м о в теперь не уйдешь"). Следовательно, должно быть ясно и то, что на языке морфологии нет п р и н ц и п и а л ь н о й разницы между такими суждениями, как к р- есть корень, -а- суфикс, - о г о — флексия. Одинаково, как приставочная, так и корневая морфема, есть признак, именование без реального смысла, кличка, указание вещи, а не выражение ее смысла. Иначе говоря, морфема, как такая, не имеет прямого отношения к подразумеваемому в слове предмету, и только, превращая ее в синтагму, мы пользуемся соответствующим знаком уже, как реально осмысленным знаком. В указанном разделении, таким образом, мы не видим возражения против проводимого нами различения морфологии и синтаксиса.

Возможность такого различения подтверждается, наконец, и разделением задач морфологии: словоизменение и словообразование. Синтаксис, — оставляя вопрос о генезисе в стороне, — пользуется словообразованием, но не изучает его. Это видно из того, что всякое словообразование есть с у ж д е н и е. Как всякое суждение, свой смысл оно приобретает из контекста. Но смысловые категории, конституирующие этот контекст, суть категории морфологические. Это—образования новых и м е н, — независимо от их реального смысла,—примѣт. Так, „учить — учитель", „любить—любитель", „водитель", итд., т.-е. „учить — глагол, учитель — имя существительное", итд. Синтаксис,

в своем плане, говорит: слово-вещь „учитель" есть подлежащее (ens subiectum) в предложении: „учитель спит", „спит" — сказуемое. Реальный контекст пользуется синтаксическим словом-вещью, как знаком, для разнообразных смыслов: „учитель обязан быть акуратным", „учитель не может быть превзойден учеником", „учитель Александра Великого...", „учитель танцев у нас был француз", итд., итд. Из этого сравнения ясно видна вышехарактеризованная „бессмысленность" морфем, их лишь „номинативное" значение [1]) (роль) в языке и принципиальное их в этом отличие от синтаксических форм. Но, так как, с другой стороны, между словообразованием и словоизменением такового различия нет, и словоизменение изучается той же морфологией, в том же порядке суждений, то нужно думать, лишь подавляющее влияние практики живого языка, дающего нам словоизменения неизбежно оформленными синтаксически, затрудняет принципиальное различение форм морфологических и синтаксических.

[1]) Если под термином з н а ч е н и е слова мы понимаем р е а л ь н ы й с м ы с л слова, улавливаемый нами из контекста речи об определенном порядке, определенной сфере вещей, то не следует злоупотреблять этим термином. „Значение" значит у нас также: „важность" („это для меня имеет значение"), „роль" („его значение в этом деле второстепенно"), „ценность" („значение этой работы преувеличено"), „действительность", как „значимость" (в смысле нем. Gultigkeit—„эта бумага потеряла свое значение"), „равнозначность" („професиональный билет имеет значение удостоверения личности"), „сила" („это не имеет юридического значения"), и, вероятно, много других, не говоря уже о многозначности слов, производных от слова „значение". Нельзя быть уверенным даже, что все эти „значения"— семасиологически однородны, и не являются в отдельных случаях простыми о м о н и м а м и. Какое же научное „з н а ч е н и е" имеет, когда защитники „научности" строят целые рассуждения на базисе такой разительной эквивокации. „Слово,—учат нас,—п о з н а ч е н и ю н е е д и н о". Можно было бы ожидать разъяснения многотрудной проблемы „единого" и „многих" смыслов слова. В действительности, автору этого афоризма нужно было различить г р а м а т и к у от с е м а с и о л о г и и через различение „принадлежностей" слова „матерьяльных" и „формальных", каковые „принадлежности" устанавливаются, как соответствия з н а ч е н и я м формальному и матерпальпому (П е ш к о в с к и й, о с., стр. 8 сл., — Пешковский видит „с м ы с л о в у ю" разницу также между „смотрю" и „смотришь" (стр. 140), имея, повидимому, в виду разницу лиц). Слово может иметь много значений, смыслов, но только „материальных" (реальных), „значение" формальное (слова или его части, как морфемы) есть не смысл-значение, а служебная в речи р о л ь — приметы,

В целом, таким образом, нельзя отрицать, что между морфологией и синтаксисом существует изначальное, принципиальное интенциональное различие. И тем не менее, при всем этом, остается верным, что синтаксические формы, как формы живой речи, формы слова в его конкретном функционировании (подобно формам физиологически функционирующих органов в сравнении с формами анатомическими) как бы покрывают собою формы морфологические. Ничто иное, как закон синтаксических образований и построений, конструкций, вызывает к жизнедеятельности формы, накопленные языком в его развитии, учитываемые и классифицируемые морфологией, как тот инвентарь языка, из которого подбирается реквизит к определенному ряду языковых выступлений. Это „покрытие" одних форм другими не нужно мыслить, как основание для полного сведения одних форм к другим в порядке логического или объяснительного включения одних в другие. Только предвзятые, и при том научно неоправданные, мнимо-психологические предпосылки создают иллюзию такой возможности. Стоит вдуматься в предлагаемое Фортунатовым противопоставление форм, относящихся к отдельному предмету мысли, и форм, определяемых отношением одного предмета мысли к другому в предложении, чтобы понять действительное отношение тех и других форм. „Представления" не суть элементы, к которым может быть сведено „суждение", или на которое „суждение" может быть разложено, как о том мечтали, напр., ассоцианионисты и вообще психологи до доказательства принципиальной самостоятельности, как представлений, так и суждений. Действительное отношение представлений и суждений, равно как и предметов и их „отношений", „обстоятельств", „положения вещей", „объектива", есть отношение фундирования. Это научное требование должно быть

имени (без значения!), клички Высказывание в роде того, что из двух значений, двух „принадлежностей" слова „вода" (вод-,-а), — при чем одно значение есть „прозрачная жидкость без цвета и запаха" (т.-е. реальный смысл), а другое — „предметность, единичность, безотносительность" (т.-е. именуемые, отмечаемые, запечатлеваемые знаком онтические признаки предмета), — получается единое значение этого „отдельного слова" (т.-е. лектон), — такое высказывание явно играет тремя разными смыслами единого словечка „значение". Мы достигнем большего, если будем не смешивать, а тщательно различать „значения" знаков морфологических, синтаксических и собственно семасиологических-смысловых.

применено и к раскрытию взаимного отношения морфологических и синтаксических форм. Первые в своей существенно номинативной функции составляют фундирующее основание для форм синтаксических, существенно конструктивных и сигнификативных. И это—независимо от различения морфем корневых и приставочных, принципиальное различие которых сглаживается не только генетическою гипотезою, но и лежащим в ее основе сознанием одинаковости их номинативной функции.

Поэтому, было бы крайним суженнем пределов взаимоотношения морфологических и синтаксических форм пытаться свести их все к тому же многострадальному отношению формы и содержания. Может быть, более продуктивным было бы признать само отношение и „единство" этих „практических" форм „материей" чисто логических (внутренних) форм, как форм для слова конститутивных. Так можно было бы прийти к наглядной схеме, помещающей в центре живую синтаксическую (и стилистическую) данность слова, как данность конкретного „обстоятельства", составляющую первофеномен лингвистики, а по краям—один термин уводит нас, через логическое, к пределу предметного содержания (смысла), а другой, через морфологию, к пределу чувственно-материального (фонетического) воплощения эмпирического языка.

Как изучение простого отношения предполагает анализ его терминов, так изучение сложной системы отношений требует анализа не только всех терминов, входящих в систему, в их, так сказать, потенциальном заряде, но и во всех возможных, актуально в самой системе данных, взаимоотношениях между терминами, независимо от их конститутивного (для системы) или только производного (в ней) значения. Но сосредоточивая внимание на логических формах, как чистых и внутренних, по отношению к „практическим" внешним, с одной стороны, и вещно-предметным, онтическим, с другой стороны, мы можем воспользоваться материально-объективным запечатлением всей системы отношений, скажем, налево от центра (синтаксические формы), как знаком всей системы направо от того же центра, рассматривая всю систему в ее логической заключенности. Таким образом, в целях эвристики, мы всё же упрощаем проблему, сознавая, однако, необходимость, по мере надобности, возвращаться, для углубления и уточнения анализа, к полноте отношений в системе.

Пользуясь таким методологическим приемом, можно было бы, напр., мыслить некоторую идеальную морфологию, как систему морфем, составляющих систему „номиналов",—первичных и возникших в порядке словообразования,—для всех возможных предметов, включая в последние и все возможные „отношения",—что можно было бы изложить и в порядке „лексикона", включающего в себя не только все „части речи", „знаки препинания", итп., но и имена всех частей „отдельного слова"—корней, основ, афиксов, итд. Для передачи чисто смысловых (логических) отношений этого было бы достаточно, и мы могли бы говорить даже об эстетическом достоинстве („изяществе" формул) соответствующей „речи". Так, примерно, дело обстоит в математической символике или в логистической, где имеются особые знаки „предметов", „отношений", „действий", „функций", итд. Без особого синтаксиса здесь, как будто, можно было бы обойтись,—по крайней мере, можно было бы условиться в этом,—хотя бы уже по тому одному, что такая морфология и была бы синтаксисом, так как включала бы в себя не только знаки вещных и смысловых отношений, но также отношений порядка слов, управления, итп. В этом направлении можно было бы итти и дальше, и вместо „морфологических" форм говорить просто о системах фонем или графем или других чувственных (иерографических, пиктографических) знаков. Применение их для простого указания или номинации мыслимых предметов было бы достаточно для создания языка л о г и к и, хотя и весьма, может быть, педантического. Но такой „язык" явно был бы недостаточен для речи прагматической или п о э т и ч е с к о й, экспресивной вообще. Поэтому, если мы говорим об особого рода формах, составляющих применение звуковых форм к предметному содержанию, то такое применение приходится мыслить в идее двояким: это есть непосредственное применение, в указанном направлении, звуковых комплексов, облеченных в морфологические формы (или просто класифицированные по каким-либо принципам фонетические формы), или это есть применение этих же форм, опосредствованное конструктивными и экспресивными формами синтаксиса. Два эти применения суть два типа действительных языковых форм, которые должны быть выделены в два особых предмета научного внимания. Если эти формы, как не данные чувственно, а лишь подразумеваемые и мыслимые, называть формами в н у т р е н н и м и, то их м е с т о в системе

языковых форм преднамечается с достаточною четкостью. Эти формы, обоих типов, не суть звуковые формы, а лишь их „применение", и тем более они не суть „естественные", „запредельные" для языка звуки, которые, как бы они ни были „естественно" оформлены, для языка остаются „чистою" чувственною „материей". Они не суть и сами предметные формы, к обозначению которых, вместе с их содержанием, призываются в звуке запечатленные языковые формы, ибо и чистые предметные формы — запредельны для языка, и вместе со своим содержанием, составляют для него чисто мыслимую материю или кладезь смысла.

Эти заключения о месте внутренних форм, мне кажется, могут быть согласованы с идеей Гумбольта о внутренней форме, даже если толковать ее собственный смысл, разойдясь с Гумбольтом в каждой букве. Правильнее, поэтому, может быть, представлять их, как простое развитие замысла Гумбольта, поскольку его можно освободить от проникающих его противоречий и недосказанностей, соблюдая, однако, верность основному определению языка, как социальной вещи (эргон) и культурно-социального акта (энергейа). Проследив возможные, и действительно имевшие место, смешения внутренних форм с другими языковыми формами, и вскрыв их правильное соотношение, мы можем глубже проникнуть в идею Гумбольта и вместе с тем показать возможность такого ее развития и филиации, которые делают из внутренней формы понятие, фундаментальное для всякого изучения слова.

Гумбольтовское определение внутренней формы, как применения внешней звуковой формы к обозначению предметов и связи мыслей, в обращенном виде, может дать положение, которое кажется априорно очевидным. А именно: раз мы утверждаем существование внутренней формы, мы тем самым признаем, что она тем или иным способом проявляет себя, обнаруживает себя, хотя бы в самом бедном и ограниченном своем чувственно-эмпирическом осуществлении. Отсюда делается вывод: „Мы никогда не можем допустить внутренней языковой формы там, где ей не соответствует никакой фонетической формы;———"[1]). Как общее положение, этот вывод верен, он,

[1]) Слова Штейнталя, которые сочувственно цитирует Пот (о. с., LXXXIII).

всущности, воспроизводит определение самой внутренней формы как отношения внешней чувственной и предметно-смысловой Но этот вывод влечет за собою величайшие недоразумени и ошибки, лишь только его начинают толковать дистрибутивно в том смысле, что каждая внутренняя форма имеет сво особое фонетическое запечатление, или, обратно, что налична совокупность фонетических форм определяет собою возможно разнообразие внутренних форм. Последнее утверждение должн было бы прямо вести к отрицанию понятия внутренней формы и вообще даже к отожествлению всех словесных форм. Но если бы такая дистрибутивность существовала, было бы необъяснимо н только многообразие способов выражения одного и того же логического („идеально-мыслимого") отношения в разных языках, но даже возможность того разнообразия, которое существуе в каждом эмпирическом, нам известном, языке. Внутренняя форм находит себе „выражение", но не имеет своей постоянной „внешности". Это может быть звук, но может быть и его прекращение или временное отсутствие, может быть лишь качество или сила звука, может быть готовая морфологическая форма, может быть простой порядок таких форм, и при том не только закономерно-постоянный, но и творчески индивидуальный, меняющийся. Как в восприятии природной вещи, мы узнаем ее по одному из многих перцептивных признаков ее, по сочетанию их, по отсутствию того или иного признака или состояния, а, узнав вещь, знаем и презентируемый ею предмет, так и в слове: по одному из знаков мы узнаем его, как слово, содержащее определенный смысл, а через это узнаем и его логически-образующую форму.

Названное дистрибутивное толкование находит себе поддержку в том определении синтаксиса, по которому синтаксис есть ничто иное, как учение о применении морфологических форм [1]). Получается нечто в роде детского занятия: из данного числа картонных отрезков разной формы составить звездочку,

[1]) Напр., в русской литературе, проф. В. А. Богородицкий противопоставляет, между прочим, морфологию, как „инвентарь отдельных категорий слов и их форм", синтаксису, который показывает, „как этими словами и формами пользоваться для превращения их в члены высказываемых предложений" (см. его Лекции по общему языковедению, Изд. 2-ое, Казань, 1915, стр. 172). Критику такого определения синтаксиса см. у R. Blümel, Einfuhrung in die Syntax, Hdlb, 1914, S. 44—46.

квадратик, итп., где каждый отрезок находит свое „применение“. Такое определение не точно и стирает разницу между предметом синтаксиса и морфологии. А в то же время оно очень поддерживает понимание внутренней языковой формы, как формы синтаксической. Кажется, что внутренняя языковая форма и есть та форма, в которую складываются отдельные морфологические отрезки. Хотя фактически она вся налицо перед нами, как внешне данная („звездочка“, „трапеция“), но всегда можно сказать, что строится она по некоторому идеально-мыслимому плану („геометрическая фигура“).

Дельбрюк находит возможным приписать самому Гумбольту понимание внутренней формы, как синтаксической. Он сопоставляет [1]) несколько общих определений Гумбольта, но решает вопрос, апелируя к двум несходным примерам Гумбольта же.

(1) В санскрите „слон“ называется то „дважды пьющий“, то „двузубый“, то „снабженный одною рукою“,—таким образом, пишет Гумбольт, обозначается три „различных понятия (Begriffe), хотя в виду имеется один и тот же предмет“. Язык обозначает здесь не предметы, а самодеятельно духом образованные, в порождении языка, понятия. Это образование и есть „внутренняя форма.“ Дельбрюк толкует этот пример в том смысле, что „внутренняя форма есть особый способ, каким язык постигает подлежащее в нем выражению понятие“. Но, по убеждению Дельбрюка, поскольку речь идет об образовании основ, или этимологии, мы имеем дело с чем-то неуловимым и для употребления непригодным. Он признает, что вещи именуются языком по самым разнообразным признакам, но он не усматривает, как эти многочисленные частности могут быть сведены в одну систему и какая выгода в таком систематизировании.—Дельбрюк признается, таким образом, что он не „усматривает“ фундаментального вопроса семасиологии. Естественно, он не видит и той „выгоды“, которую несет с собою понятие внутренней формы, объединяющей в одну проблему основные понятия логики, поэтики и семасиологии. Неточность пояснения, которым Гумбольт сопровождает свой пример, проистекает только из того, что этот пример открывает возможность двойственного толко-

---

[1]) Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, I. Th. 1893, S. 40—43. Для сравнения и в противопоставление этому см. у Гумбольта, Введ. § 21, S. 259—60.

вания термина „внутренняя форма“. Подразумевается, конечно, за всяким названием один предмет, но называются отнюдь не понятия, а воспринимаемые вещи, с их объективными свойствами, действиями и отношениями. Что касается смысла, который заключается в словесном выражении данной вещи (и о данной вещи), то он нами постигается, понимается, уразумевается, улавливается, усматривается, итп., через или сквозь внешние формы словесного выражения, в собственных самодеятельных логических формах, которые и должны рассматриваться, как внутренние формы слова. С точки зрения абстрактной логики их можно называть „понятиями“, но тогда надо отличать в самом „понятии“ его (логическую) концептивную форму от смыслового, конципируемого содержания. Такое толкование было бы связано с концептуалистическою теорией понятия и вело бы к свойственным концептуализму затруднениям. Главное, оно не показывало бы, как устанавливается понятие, как концептивная форма,—требуется для этого особая „способность“, асоциативное замещение, или еще что?

Можно рассуждать иначе: признать, что само слово является понятием. Оно само имеет тенденцию, хотя бы потенциально, покрывать всё объективное содержание подразумеваемого под ним предмета. В таком случае, смыслом является это содержание, раскрывающееся в словесной передаче всегда только с большей или меньшей степенью исчерпываемости, и до конца раскрывающееся лишь в некотором идеально-мыслимом пределе. Мы говорим даже о законах движения к этому пределу полноты смысла, как о законах диалектического движения. Динамический характер и энергийная роль внутренней формы при таком толковании выступают нагляднее. Само „идеальное“ слово, как понятие, всецело условно и генетически совершенно случайно, лишь его логичное образование и движение связано и предопределено законом. Если такое слово приобретает ту или иную общественную санкцию или юрисдикцию, — науки, професии, сношений политических или комерческих, привычки или обычая, итд., — оно становится „термином“, условным техническим знаком. Но тогда другие именования того же предмета становятся к условно закрепленному или привычному имени в своеобразные отношения. Говоря приблизительно и грубо, они указывают только одну сторону, „часть“, „тему“ того, на что „понятие“, в тенденции и идеале, направляется,

„часть“ всего соозначения (connotatio), как „целого“ или как „системы“. Будут ли эти „иные названия“, „инословия“, в других приложениях терминами или нет, для данного их применения—не существенно. Они как бы поворачивают к нам смысл то одною его, то другою стороною, указывают направление к нему (греч. τρέπειν), как такому, показывают его в разных „видах“, „поворотах“, „образах“, (τρόποι). Рассматриваемые сами по себе такие именования суть слова, как все слова, но эта их роль „тропов“ определяется через их отношение к конвенциональному „понятию“ в конструктивно связанной речи, в ее внешне оформленном (синтаксически) контексте. В отличие от этих внешних форм эти отношения, в свою очередь, могут рассматриваться, как внутренние языковые формы. А в отличие от внутренних языковых логических форм, как будет показано ниже, их можно называть поэтическими. Их предел, „идеал“—не в исчерпании смысла, а в извлечении смысла из объективных связей его и во включении в другие связи, более или менее произвольные, подчиненные не логике, а фантазии. Их диалектика есть их игра, постижение их есть овладение этой игрою путем погружения в нее или отдачи себя ей, этой игре, столь знакомой каждому по своеобразному чувству наслаждения, сопровождающему ее. Отрешенные фантазией от действительности, смысловые содержания через поэтическое оформление их устремляются все-таки к самой действительности, определяющей их самобытную в остальном „поэтическую правду“. Внутренние поэтические формы без внутрених логических, как своего основания, существовать, таким образом, не могут, как не могут они существовать и без внешних звуковых форм, хотя, как в одном, так и в другом случае, нет однозначного дистрибутивного отношения между одними и другими.

(2) Иначе Дельбрюк отнесся к другому из цитируемых им примеров Гумбольта. Рассуждая о преобладании звуковой формы в определении характера языка, Гумбольт выдвигает ту точку зрения на язык, при которой весь язык рассматривается только, как средство к некоторой цели [1]). Тогда всю совокупность средств, которыми язык пользуется для достижения

[1]) Согласно нашему толкованию, при такой точке зрения, мы рассматриваем его, как „социальную вещь“, (см. выше, стр. 41). Разумеется, как всякое средство, слово, и вообще знак, есть, соотносительно, и цель „более близкая“, когда она отодвигает от нас цель первоначальную. Это

своих целей, можно назвать *техникою* языка. Последняя может быть разделена на технику *фонетическую* и *интелектуальную*. Под первою Гумбольт разумеет *образование слов и форм*, поскольку оно касается только звука или мотивировано им. Она—богаче, если отдельные формы обладают более широким и полнозвучным объемом, напр., если она для одного понятия или отношения дает формы, различающиеся только по выражению. Напротив, интелектуальная техника охватывает то, что в языке (das in der Sprache...) подлежит обозначению и различению. Сюда относятся случаи, когда язык обладает обозначением рода, двойственного числа, времен во всех возможных связях понятия времени с понятием процеса действия, итд. — Дельбрюк допускает возможность указания особенностей языка в этом направлении, и даже приводит, как образец, характеристику якутского языка, которую дает Бётлинк (Böhtlingk), озаглавливая ее: „логические признаки" (logische Merkmale)[1]). Бётлинк, по словам Дельбрюка, сопоставляет здесь *внутреннюю* языковую форму якутского с внутреннею языковою формою других языков. Но ничего, кроме резонирующего обзора, т.-е. никакой системы, никакой возможности класификации, Дельбрюк здесь не видит. Тем не менее он находит возможным резюмировать всё сказанное в словах: „С внутреннею языковою формою мы уже вступаем в область синтаксиса".

Если это—„область синтаксиса" и ею покрывается область внутренних языковых форм, то не понятно, зачем Гумбольту понадобилось вводить новый термин рядом с термином „синтаксическая форма" или на место его? И, с другой стороны, если эти термины тожественны по своему значению, то почему анализ внутренней формы может привести только к ка-

---

передвижение цели заставляет вообще выдвигает на первый план в „социальной вещи" не ее роль средства, а ее роль *знака* (знака некоторого смысла, культуры, как отдаленной или конечной цели). Запамятование роли самого знака, как средства, и превращение его в самоцель, создают злоупотребление его „техникою" — то, что можно было бы назвать *техницизмом*: порок не только в практической жизни, но и в науке, в искусстве, вообще в культуре.

[1]) Напр.: „Граматический род не развит, точно также сравнительная степень прилагательного. Особые окончания для accusativus definitus и indefinitus, dativus, ablativus, locativus, instrumentalis, adverbialis, comitativus и comparativus Особое окончание для множественного." Итд.

кому-то aperçu raisonné, без всякой возможности класификации или системы? — Одно из двух: или Гумбольт сам делает промах, называя синтаксические формы внутренними, или надо уметь понять пример Гумбольта в согласии с его общим учением о внутренних языковых формах! И вот, прежде всего, возбуждает сомнение самое отожествление Дельбрюком понятия „внутренней формы" с понятием „интелектуальной техники". Свой полный смысл понятие „внутренней формы" получает лишь в контексте учения Гумбольта о языке, как энергии, между тем, приводя этот пример, Гумбольт подчеркивает особую точку зрения на язык, при которой можно ввести и особое понятие „техники языка". В лучшем случае, здесь может быть некоторое соответствие внутренней формы, но никак не тожество ее, с синтаксической формою. В чем может заключаться это соответствие? Образование слов и языковых форм, как сказано у Гумбольта, обозначает „понятия и отношения", интелектуальная же техника, по его разъяснению „обозначает и различает" то, что в языке подлежит обозначению и различению. Последняя, след., имеет дело также со звуковыми формами, но лишь, как названиями языковых (речевых) процесов, каковыми и являются конструктивные синтаксические формы, ориентирующиеся по самим предметным отношениям или по их внутренним логическим формам. Что иначе значил бы тот „синтез внешней и внутренней формы" (см. выше, стр. 42 сл.), которым характеризуется язык, как такой, и который Гумбольт сам предлагает понимать не дистрибутивно, а в целом языка[1]).

В конце концов, в противоречие впадает сам же Дельбрюк. Он выбрал, как наиболее удачный пример указания „внутренней языковой формы", характеристику якутского языка, потому что, по его заключению, Бетлинк сопоставляет внутреннюю языковую форму якутского и внутреннюю языковую форму других языков, и через это наилучшим способом ее разъясняет. Но что же выражается по разному разными в разных языках синтаксичеекими формами? Или, действительно, какие-то подлинные внутренние формы (онтические, логические)[2]), или же

---

[1]) „Nicht aus Einzelnheiten, sondern aus der ganzen Beschaffenheit und Form der Sprache geht die vollendete Synthesis— — —hervor"(S.116).

[2]) Как сам Гумбольт разумел под формами словообразования приложение общих категорий: действования, субстанции, свойства, итд. (§ 8, S. 59).

некоторые идеальные формы некоторого идеально мыслимого синтаксиса. Но показательно, что все перечисленные Бетлинком формы якутского языка суть формы именно данного языка, т.-е., так как якутский язык есть так наз. аглютинирующий язык, то эти формы, в строгом смысле, суть ничто иное, как ставшие и становящиеся постоянными суфиксы, или, иными словами, постоянные словообразовательные морфемы. О специфически синтаксическом (конструкция) ничего не говорится даже. Из области внешних форм мы здесь, таким образом, не выходим [1]), и Дельбрюк напрасно, с своей точки зрения, допустил правомерность понятия внутренней формы даже в этом ограничительном толковании. Для Дельбрюка ее вообще не должно существовать,—язык должен работать, как автомат, так что и предположенные нами только что идеальные синтаксические формы,—если вообще такое понятие, с точки зрения Дельбрюка, допустимо,—должны быть, в свою очередь, не внутренними спонтанными формами, а лишь некоторыми безвольными схемами, получающимися в итоге эмпирического обобщения ряда изучаемых, путем сравнения, языков.

Трудности, на которые наталкивался всякий, кто пробовал уяснить себе понятие „внутренней формы“ у Гумбольта, останутся непреодоленными, если держаться буквы формул и примеров Гумбольта, а не общего смысла его анализов. Гумбольт связан чрезвычайно условным противопоставлением формы и содержания в кантовском смысле. Для него, как будто, только и есть „материальное“, „следствие реальной потребности“, „относящееся непосредственно к обозначению вещи“, и „идеальное“, „мышление“, „всегда относящееся к форме“ [2]). Как будто нет основания для различения самих форм: всё отброшено в „мышление“, а там—только совы зрячи. Исследователь языка должен задохнуться в этой щели между формою и содержанием. Получается так, как если бы всё „содержание“ со-

---

[1]) Марти уже отмечал, что Дельбрюк относит к внутренним формам то, что принадлежит формам внешним (Allg. Gram., I, S. 154). Сам Марти, однако, со своим понятием конструктивной внутренней формы также держится в пределах синтаксиса и стилистики (cf. S. 144 ff.), хотя бы и „идеальных“, как это будет видно в дальнейшем из текста. О применении у Марти понятия „фигурной внутренней формы“ к синтаксису cf. Funke, o. c., 45—73.

[2]) Cf Ueb. d. Entstehen... III, 296.

стояло только из звукового состава речи, а формы—грамматические, синтаксические, логические, предметные—все одинаково формы мышления. Но не следует ли начать с того, чтобы различить, по крайней мере, само мышление грамматическое, синтаксическое, итд.? Если мышление все-таки остается всюду мышлением, одним и тем же по качеству, то оно должно быть различаемо в то же время по какому-то иному признаку. И ясно, что этот признак—ни в чем ином, как в том предмете с его мыслимым содержанием, на который направлено, в том или ином случае, мышление. Сам Кант, как известно, допускал рядом с формирующею деятельностью рассудка также формы чувственного содержания, а в деятельности рассудка различал его собственную деятельность, — synthesis intellectualis,—связь в самих категориях, и связи сообразно категориям, — synthesis speziosa,—связь созерцаний, но в рассудке; деятельность воображения („продуктивного“) и была для него таким „первым применением рассудка“ (Kr. d. r. V. § 24, B 151—152).

Мы выйдем, таким образом, из названных затруднений, лишь соблюдая все необходимые различения в деятельности мышления по его предметной направленности. Установление этих различений должно быть вместе установлением и различением языковых форм. Каждая выступит со своим специфическим содержанием, и язык предстанет перед нами не как симплифицированное противопоставление отвлеченных понятий форм и содержания, а как сложная структурная система форм. „Содержание“ в ней, равным образом, не должно рассматриваться только как какая-то мертвенная маса; сами формы могут выступить, как содержание по отношению к другим формам, — их взаимоотношение и иерархия в системе раскроют их действительную роль и значение. В этом пункте—Аристотель, а не Кант!

Чтобы понять Гумбольта, надо поставить перед собою тот же предмет, который стоял перед ним, и следить за мыслью Гумбольта, глядя на этот предмет, уточняя терминологию там, где она у Гумбольта приблизительна, и самостоятельно пополняя то, что упущено им, по данным доставляемым самим предметом. — Совершенно ясно, что, пока мы воспринимаем синтетическую форму только в ее чувственных признаках, мы имеем дело с формою внешнею. Устанавливаем ли мы наличность определенного синтаксического феномена по некоторому зву-

ковому тожеству (сын-у, друг-у, стол-у,...) или по признанию в нем индекса закономерного морфологического образования (сын-у, мор-ю, вод-е,...), поскольку само тожество или единство трактуются, как моменты воспринимаемые, мы будем говорить о внешних формах, независимо от того, как изъясняется роль интелектуального фактора в их образовании. Самый вопрос об этих формах, как отношениях, сочетаниях, или качествах, даже не есть вопрос науки о языке, а есть общий психологический вопрос. Но лишь только мы в данных звуковых элементах или комплексах, несмотря на различие самих дат (-у,-е,-и,...), признаем некоторое идеальное морфологическое единство, мы тем самым признаем наличие в языке и некоторой синтаксической „нормы“ (в смысле, скажем, Фослера), т.-е. некоторой идеальной основы для разнообразия исторических данных рассматриваемого языка. Если мы, сверх того, признаем, что синтаксическое оформление языка,—какие бы эмпирические формы оно ни принимало в разных языках,—есть необходимый момент в самой структуре языка, как такого, языка вообще, и будем его рассматривать независимо от какого бы то ни было чувственного индекса, в его идее, мы будем иметь дело ни с чем иным, как с идеальными синтаксическими формами. Не являются ли именно эти идеальные формы подлинными синтаксическими формами, для которых те чувственные—именно только „индексы“, и нельзя ли их назвать внутренними формами языка?

—Всякая внешняя форма имеет свое идеальное основание, и если бы последнее называлось формою внутреннею, то нам пришлось бы искать новые названия для различения самих внутренних форм. В действительности, внутренние формы потому и называются внутренними, что они постоянных чувственных индексов не имеют, ибо они суть формы мыслимого, понимаемого, смысла, как он передается, сообщается, изображается. Эти формы именно и составляют то, что делает сообщение условием общения. Их чувственные знаки—не постоянные индексы или симптомы, а свободно перестраивающиеся отношения элементов, сообразно выражаемым отношениям, перестраивающиеся по законам, сознание которых дает возможность улавливать, как характер этих перестроек, так и отражений в них сообщаемого. Синтаксические же формы суть формы именно „передачи“, передающих знаков, т.-е. „чисто“ словесные формы

языка, как средства общения. Их собственное „значение“—не в смысле передаваемого, а в них самих, т.-е. их значение исчерпывается их синтаксическою значимостью, точнее, синтаксическим назначением. Как формы речи, они суть формы языка, как sui generis вещи, т.-е. формы онтические: формы не природной вещи, как она есть, не предмета, о котором идет речь, а самой речи, как вещи, имеющей свою формально-онтологическую конституцию. Те чувственные индексы суть как бы названия речевой вещи, ее свойств и отношений. Смысл этих форм—синтаксический, а не смысл сообщаемого. Он исчерпывается двумя функциями этих форм, функциями словесного упорядочения самой передачи: со стороны, действительно, объекта, о котором нечто сообщается,—конструкция объективно-смысловая,—и со стороны целей („воздействие“) и мотивов (эмоционально-волевых) передающего субъекта (индивидуального и колективного, и обоих зараз),—конструкция субъективно-экспресивная („интонация“). В обоих случаях к смыслу передаваемого синтаксическая форма может иметь отношение лишь опосредствованное—формами самого передаваемого смысла и предмета, как „объекта“, так и „субъекта“. Поскольку эти последние формы суть формы не самого бытия объекта, а формы сообщаемого об этом бытии, они суть логические формы и внутренние. Вопрос об отношении к ним, о „согласовании“ с ними, форм синтаксических есть особый вопрос, только подчеркивающий их разную природу и разные сферы их онтологической принадлежности.

Что касается отношения синтаксических форм к бытию „передаваемого“ со стороны субъекта, то оно кажется более непосредственным, поскольку формы „передаваемого“ здесь запечатлеваются в самом звуковом материале, как ингредиенте „субъективного выражения“ („экспресия“, передающаяся в „интонации“, „прерывистости речи“, „шопоте“, „крике“, итп.). „Многое,—говорит Гумбольт,—в строении периодов и в связи речи нельзя свести к законам, но оно зависит всякий раз от говорящего или пишущего. Заслуга языка тогда—в том, чтобы гарантировать свободу и богатство средств для многообразия оборотов, хотя бы он доставлял только возможность создавать их в каждый данный момент“ (§ 11, S. 114). И хотя, конечно, самая „неправильная“ речь синтаксически

оформлена и есть объект синтаксиса общего, индивидуального, и даже по данному случаю, однако, и здесь есть вопрос о „соответствии", „адекватности", итп.,—не только о „соответствии" некоторой условной „норме", но, что здесь важно, о „соответствии" данной ситуации. Последнее обстоятельство, опять-таки, свидетельствует о том, что здесь два разных предмета, и вопрос о различии синтаксических форм от экспресивных в психологическом, „естественном", смысле предполагает между ними онтологическую грань. Различие между ними только углубляется, если прибавить необходимый и законный новый вопрос: об отношении экспресивных форм вообще („естественных") и синтаксических, как их „выражения", или, вернее, „части" и „ингредиента", к формам логическим (поскольку вообще „сообщаемое" вызывает само по себе ту или иную субъективную реакцию, или поскольку оно может „воздействовать" так, что она будет вызвана им). Как чисто импульсивные движения или рефлексы („жесты", „мимика"), они „естественны" и непреднамеренны, становясь намеренными (цель—„воздействовать"), они должны быть так или иначе приноровлены к формам объективного сообщения (к внутренним логическим формам). Само это отношение намеренной экспресивности к синтаксической форме ее выражения есть sui generis форма, форма именно экспресии, в своем основании — не чисто логическая, а, можно было бы сказать, квази-логическая [1]), и имеющая целью не простое сообщение, а воздействие, внушение. Поскольку здесь все-таки речь идет о „передаче" „выражаемого", можно говорить о соответствии ее своему предмету—„субъекту", но при этом мы получаем не столько сообщение о нем (прямая передача), сколько его „изображение" (прямое внушение). Раз цель „воздействия" действительно, имеется, т.-е. раз речь идет об оформлении языка в этом направлении, мы говорим об особой организации и формах речи—уже не логических, а лишь квази-логических, и, след., соответствующие внутренней формы можем называть внутренними, но не логическими формами [2]).

---

[1]) Quasi-логическая — потому что называющее слово (nomen) в действительной речи (тропированной) всегда есть субъект некоторого предложения, предикат которого есть логическое утверждение оформленного действительного смысла речи (терминированной).

[2]) Бывает речь сильно насыщенная эмоциями, которую мы тем не менее, поэтическою не называем, но так же и логическая речь воз-

Последние организуют синтаксические формы изнутри (деятельность фантазии) и, наслаиваясь на логических, они как бы закрывают их, и тем самым отрешают, в конечном счете, через них передаваемое от реальной связи вещей и обстоятельств, содержание коих составляет передаваемое. Намерение, осуществляемое в этом направлении, в противоположность намерению адекватной передачи того, что есть, руководимое фантазией, превращает всю соответствующую речь в речь художественно-поэтического творчества. Но—очевидно, что элементы ее—те же, что и речи прагматической, и если последняя интенционально лишена внутренних поэтических форм, то она нисколько не лишена тех способов внешнего оформления, которому подлежат элементы синтаксической формы. Их координация и субординация (выбор слов, их порядок, повторение, их всякое более или менее постоянное комбинирование), внешне (чувственно) воспринимаемые, составляют оформление стилистическое. Непреднамеренный или намеренный выбор стилистического оформления также представляет и субъекта и объект, но с новой стороны,—со стороны технических приемов субъектов (индивидуальных и колективных) и со стороны технического материала (фонетического состава языка). Внимание к техническим приемам здесь тем более важно, чем шире язык пользуется своим фонетическим материалом, обработанным уже по законам внутренних поэтических форм. Стиль пользуется повторением, группировкою, расположением метафор, эпитетов, итд., в интересах внешней композиции, внешнего „рисунка“ речи,—это—костюм, по принадлежности которого субъекту последний узнается, как персонально, так и в его среде, эпохе, общественном слое, итд.

Подобно тому, как полная субъективная экспресия включает в себя, лишь как часть, поэтическое воздействие (эстетическое и вне-эстетическое), и стилистическое оформление включает в себя, лишь как часть, запечатление того, что предопределяется внутренними поэтическими формами. Полностью экспресия, апелирующая ко всему симпатическому апарату субъекта, не вмещается в рамки поэтически оформливаемого, и

никает из речи, ничего о логике не знающей. Генезиса поэтической речи я вообще не касаюсь, со стороны же смысла указанные в тексте темы будут затронуты ниже; здесь мне важно только показать, почему синтаксические формы не могут быть названы внутренними.

может пользоваться всеми другими членами словесной структуры, как средствами воплощения и воздействия. Само содержание передаваемых обстоятельств,— скорбных, возмутительных, радостных, позорных, итд.,— может уже нести с собою соответствующее воздействие, и, как содержание, оно передается логически упорядоченно. Оно, таким образом, может быть отображено и в объективной синтаксической конструкции, и в повторяющейся или меняющейся интонации („мелодии"), и может стать, наконец, стилистическим приемом, но это не делает еще речь поэтическою. Всё это возможно и в речи прагматической, и в речи даже научной или квази-научной („критика", например), вообще в речи внутренне прозаической. Такая речь, лишенная поэтической души, внутренней поэтической формы, не имеет и внешне подлинного поэтического вида, а лишь квази-поэтический. Это — речь риторическая. Ее намерение — не-поэтическое воздействие, и ее строение всецело определено внешними формами: „план" на место композиции, „авантюра" на место „образа" фантазии, голая „возможность" („случай", „вероятность") на место реализуемой идеи, „мораль" и „проповедь" на место правды, итд. Но синтаксические элементы речи риторической, как и научной терминированной, все — те же, что и речи поэтической, тропированной, ибо формы синтаксические—формы внешние, и при том независимо от интенции речи в целом, а в зависимости от состава языка и его истории.

Итак, синтаксические формы, и в своей эмпирической данности, и в идеальных законах и основаниях этой данности, остаются формами внешними. Если им противопоставить внешние и идеальные формы самих вещей, свойства, действия и отношения которых сообщаются через посредство слова, то, схематически и отвлеченно, действительное место внутренней языковой формы определено. Внутренние формы лежат между внешними и предметными. Само собою также этим подсказывается мысль, что это „между“ и есть ничто иное, как своего рода отношение между указанными пределами, составляющими меняющиеся, живые термины этого отношения. Называемая „словом“ вещь, какова бы она ни была, меняется и живет в природе и истории. Сама звучащая речь также меняется и живет в природе, вместе с нею меняется и живет также языковая конструкция в истории, а, следовательно, и определяемое этими терминами отношение, в свою очередь, меняется и живет во всех формах своего обнаружения. Этим самим оно заявляет о себе, что оно и в самом существе своем есть отношение динамическое. Его действительная природа, характер его и его особенности раскроются перед нами, и указанная отвлеченная схема наполнится конкретным содержанием, если мы сумеем раскрыть природу и характер его динамики. Но нужно особо отметить, что даже чисто схематическое указание на динамический характер раскрывающегося отношения, по крайней мере, эвристически, есть большой шаг вперед. Оно предостерегает против всякого смешения внутренней формы с такими формами, которые могут быть запечатлены в виде статической схемы и формулы. Различение здесь не всегда легко достижимо, так как оно основывается не только на качественном различии, но и на (менее тогда заметном) различии степени. Так, при несомненной изменчивости граматических форм, они, в отдельные

моменты своего развития, без труда поддаются схематической формулировке и классификации. Вопрос о природе динамики внутренних форм есть вопрос не только о содержании представляющего их отношения, но также вопрос о том, зависят ли и формальные качества этой динамики,— темп, напряженность, диапазон, итп.,— всецело от таких же качеств определяющих терминов („вещь", „звучащая форма"), или внутренняя форма обладает собственным напряжением и силою, действующею независимо от изменения терминов, по собственным внутренним законам, и при случае, оказывающею воздействие на изменение любого из терминов и их обоих вместе[1]). И если дело так и обстоит, то может случиться, что внутренняя форма обладает таким динамическим напряжением, что, даже в относительно устойчивых схемах, она не выразима или выразима лишь при введении каких-то новых ограничивающих условий. Если теперь припомнить вышепроведенное положение, что внутреняя форма лишена сколько-нибудь постоянного и устойчивого внешнего запечатления, то можно признать априорною предпосылкою для определения внутренней формы тот факт, что она безусловно не поддается запечатлению в статических схемах и формулах.

Как ни ясным уже, кажется, только что изложенное о „месте" внутренней формы в структуре слова, однако, в предыдущем раскрыта только одна сторона проблемы, показано действительное значение только одного термина отношения — внешней формы. Подлинно ли и подразумеваемая онто-

---

[1]) Вероятно, никто не усумнится в воздействии внутренней (логической) формы на внешнюю конструктивно-синтаксическую, но спросят, быть может, какой смысловой и логический акт воздействует на вещь?— Под „вещью" (ens), мы разумеем, с точки зрения языка, всё, что может быть названо, следовательно, не только матерьяльные вещи и вещества, но также психические акты, действия, поведение человека, а равно и всякий социальный продукт или акт, в том числе, например, юридическое определение, закон, религиозное установление, литературу научную и художественную, итд., итд., — влияние внутренней (логической и поэтической) формы на все эти „вещи" может быть безгранично.— Кроме того, и вообще необходимо помнить, что, когда мы говорим о „предмете", как термине внутренней формы, мы, само собою разумеется, имеем в виду предмет не в его онтических свойствах, так сказать, самолично, а лишь в его подразумеваемости (Meinen).

логическая форма, форма самого предмета[1]), о котором высказывается слово, и которая, поэтому, также как-то „выражается“ им, не может быть отожествлена с внутреннею формою слова?

Основанием для отожествления может служить распространенное понимание логической истины, как соответствия мыслимого или высказываемого тому, что есть, т.-е. предмету, вещам и предметным отношениям. Предмет, по отношению к вещам, может рассматриваться, в его идеальности, как некоторое формальное единство, господствующее, прежде всего, над некоторым формальным же многообразием, а затем, через посредство последнего, и над эмпирическим чувственным многообразием вещей, как по их видам, так и индивидуально. Поскольку чувственное многообразие эмпирической вещи, данное в восприятии, не передается словом более высокой ступени, чем перцептивное суждение, в котором воспринимаемая вещь занимает место субъекта (заменяемого лишь местоимением „это“), и никогда не может быть предикатом, оно остается абсолютным содержанием самой вещи и, след., границею, пределом содержания самого слова. Не трудно видеть, что то же самое относится к чисто формальному многообразию предмета (расчлененная, например, поверхность вещи, градация и ритм временных моментов процеса, итп.): как чисто онтологическое формальное содержание, оно остается для словесного выражения пределом[1]). Разница между обоими моментами,

---

[1]) Точнее: самый предмет, как форма объектного содержания — свойств, действий, итд., — forma substantialis, по отношению к которой formae accidentales, в их совокупности, можно рассматривать, как объектное содержание. Однако, „предмет“ рассматривается, как форма, и по отношению к совокупности „вещей“. Эти формы могут быть названы эйдетическими, поскольку эйдос берется в его качестве species. Эйдос, как essentia, представляет оба смысла предметной формы, как единство и единый смысл. Ср., у Аристотеля, эйдос, как формообразующее начало в οὐσία—по отношению к ὕλη; и, с другой стороны, субстанциальная форма (схоластиков), как οὐσία οὐσιώδης.

[1]) Не передается ли оно с помощью изобразительного искусства?— Считаю, что самый вопрос имеет смысл в данном контексте лишь при условии, что он относится не к художественной цели живописи или пластики (здесь ответ был бы явно отрицательным), а к логическому основанию изобразительного выражения, которое в чистом, не затемненном художественными целями, виде представляется скорее чертежами, планами, моделями, фотографией, итп. Но, конечно, и в них есть значи-

с точки зрения сознания их, лежит всецело в сфере различения чувственного восприятия и синтеза апрегензии (в смысле Канта, т.-е. некоторой способности продуктивного воображения) или схватывания сочетательных форм (Gestaltqualität в современном смысле), и, во всяком случае, не касается понимания, с которого только и начинаются логические и осмысленные функции слова. Таким образом, если и чувственное и формальное содержание предмета остается бытийной принадлежностью его, составляющей для выражения лишь ориентирующий предел, то, может быть, сам предмет, как единство этого содержания, может быть назван внутреннею формою сообщаемого о нем?

Но можно ли сказать, что предмет или предметное обстоятельство (Sachverhalt, Objectiv) и есть то, что выражается в слове, как его смысл, и что, след., дается нам через понимание? Строго говоря, с точки зрения выражающего слова, предмет есть лишь некоторое X, на которое направляется или к которому призывается наше внимание, некоторая точка сосредоточения речи, всегда имеющаяся в виду при обсуждении вещи того или иного вида бытия, как идеальная его форма, но, след., не уразумеваемая, а лишь подразумеваемая, как единство уразумеваемого вещного содержания. Последнее-то и входит в смысловое содержание речи, актом подразумевания никак не конституируемое. Для конституирования смыслового содержания слова требуется особый творческий акт: он—условие сообщения, словесного выражения, и только с ним может быть связано подлинное понимание и уразумение.

Не покидая почвы непосредственного созерцания вещи, мы обыкновенно говорим об особых актах постижения, уже не чувственного, а мыслимого содержания ее, как об актах концепирования (предмета) и компрегензии (объектива, предметного обстоятельства)[1]. Как акты, непосредственно направленные на

тельная условность, поскольку, при самом точном даже применении принципа масштаба, соблюдаются условные правила перспективы, ракурса, сферической сетки, фокуса объектива, итд. А потому, думается мне, и в такого рода изображениях вещей мы найдем не больше онтологического содержания, чем в перцептивных суждениях, типа: „вот — Казбек", „это — мой дом", „это — дядя Володя", „это — слон, а вот и носорог", итд.

[1]) Это терминологическое разделение дано мною совершенно условно, никакой традиции здесь не существует.

предмет, они всецело объективны,—предмет не оторван от них, а находится в них самих презентативно, и тем не менее эти акты, как только мы устанавливаем, констатируем, выражаем созерцаемое и постигаемое, суть акты творческие, *логические*. Логическое — подлинно „соответствует" предмету, и в то же время не соответствует, потому что „творит", будучи словесною передачею предметного отношения. И тут, надо отметить, перед нами не просто заурядный пример диалектического движения мысли, а изначальная основа, Ursprung, живой ключ всей *диалектики*. Моментом, разрешающим противоречие, является самый процес, „становление", творчество, состоящее ни в чем ином, как в планомерном, систематическом отборе в передаваемый смысл содержания, „соответствующего" предмету. Отбор в идее совершается бесконечно, но в каждом данном случае он ограничен и определен целью, контекстом, предыдущим знанием, апперцепцией, итп. Планомерно отбираемое для сообщения предметное содержание есть смысл сообщения, и он-то и постигается в понимании; конципирование и компрегензия, как творческие акты, суть акты *отбора*, в своем течении составляющие бесконечный процес. Их „продукты" иногда называются понятиями, иногда даже *представлениями*, поскольку эти широкие термины вмещают в себе указание не только на репродуктивные, но и творческие процесы. В основной своей характеристике они составляют процес, „теченье", становление, но, след., в каждое отдельное мгновенье, также устойчивость, „покой", как момент движения. Как в движении, так и в моменте покоя, смысл сообщаемого отвлеченно может рассматриваться, как корелат формирующему его началу, но при условии, что и он сам может быть назван формою — по отношению к предметно-онтическому содержанию [1]).

Но не суть ли сами понятия или представления — внутренние формы слова? — Понятия и представления суть довольно сложные, и по составу, и по структуре, образования. Поэтому, такой вопрос, пока он не расчленен, он — груб, и всякий прямой ответ на него непременно также останется грубым и неубедительным: было бы одинаково обосновано — ответить на него и утвердительно, и отрицательно. При утвердительном

[1]) Так например, сюжет может быть назван формою по отношению к известному историческому событию и жизненной ситуации, а научно-историческое изложение — по отношению к содержанию источников.

ответе есть опасность, которую ни на минуту нельзя упускать из виду,— опасность концептуализма. Она, однако, устраняется, как только мы признаем, что понимаемое и представляемое содержание предиката и есть подлинное его содержание, в своей мыслимости столь же объективное в аспекте возможности, как объективен воспринимаемый предмет в своей действительности. Но таким признанием мы вовсе лишаем соответственные акты понятия и представления какой бы то ни было творческой мощи или, в лучшем случае, на долю творчества оставляем одни инвенционные способности рассудка, и тем самым, как будто, принуждаем себя к ответу отрицательному. Здесь-то и нужно припомнить сложную структуру понятия: мыслимое в нем предметное содержание никогда не есть всё содержание предмета, а есть содержание целесообразно и планомерно подобранное в соответствии с намерением и замыслом сообщения и выражения. В этом пункте нельзя отказать понятию, как логическому акту, в творческой мощи, напротив, тут-то и открывается собственный смысл и собственное значение всего научного и вообще словесно-логического творчества.

Таким образом, со стороны планомерного выполнения понятием некоторого замысла, оно удовлетворяет вышепоставленным требованиям и может быть названо внутреннею формою. Но, очевидно, что при этом имеется в виду не само по себе понятие, как такое, словесно данное, но и не отвлеченное мыслимое содержание, хотя бы принятое и отобранное, как форма по отношению и предметно сущему содержанию, а некоторое, в нем запечатленное, как его формальный момент, правило его „образования", „формования". Это правило есть ничто иное, как прием, метод и принцип отбора,— закон и основа словесно-логического творчества в целях выражения, сообщения, передачи смысла.

Возникает новый вопрос: не коренится ли самый этот принцип и закон, именно потому, что это есть принцип и закон творчества, исключительно в способностях субъекта? И как уйти от легкого здесь соблазна кантианства?—Ответ зависит от того, скажем ли мы, что в процесе своего словесно-логического творчества, вызываемого целью и надобностью сообщения, мы руководимся объективными целями и подчиняемся законам самого материала, из которого тут творим („понятия"), и который пред-

стоит нам, как объективная данность, или мы признаем, что весь этот материал—только концепты, не соотнесенные, в свою очередь, ни к какому объекту и сами для творчества—не объекты, а его текучий состав, складывающийся в словесно-логический калейдоскоп по произвольному капризу асоциаций и соизволению трансцендентальной апперцепции? Раз признанная объективная предметность мыслимого содержания, самолично входящего в смысловое выражение, как его смысл, принуждает нас и здесь, — в словесно-логической супозиции слова, где объект — само же слово-понятие, — признать и искать ее права не со стороны субъекта. Соблазн кантианского субъективизма был бы соблазном в сторону того же концептуализма.

Нельзя отрицать, что Гумбольт предлагает свое учение о внутренней форме, не обезопасив его ни от концептуализма, ни от кантовского субъективизма. Когда Гумбольт отмечает, что к одному и тому же предмету мы относим разнообразные понятия и выражения, а потому и словесные формы его также многообразны, он этим только отрицает, что онтические формы могут быть названы внутренними формами слова. Но, что же он утверждает?—Как звуковая форма, развивает Гумбольт свою мысль, связана с словообразованием, так обозначение *понятия* связано с его образованием. У понятия имеются свои внутренние признаки, для которых артикуляционное чувство находит обозначающие звуки. Это имеет место даже при обозначении телесных, чувственно-воспринимаемых предметов, ибо и в этом случае слово не эквивалетно предмету, а лишь концепции (Auffassung) его в языковом акте (Spracherzeugung) в определенный момент словонахождения. „Слон“, — мы уже знакомы с этим примером,—в санскрите называется то „дважды пьющим“, то „двузубым“, то „одноруким“, — подразумевается (ist gemeint) один предмет, обозначается несколько различных понятий. Язык, таким образом, воплощает (darstellen) не предметы, а самостоятельные образования в акте языка, понятия их. Именно об этом образовании, поскольку оно рассматривается совершенно внутренне, как бы предшествующим артикуляционному чувству (§ 11, S. 109) [1]), и идет речь.

---

[1]) Ср. толкование этого пасажа у Марти (Untersuchungen usf. S. 159). Марти прав, различая класификацию *одного и того же предмета*, через подведение его под различные понятия, от различных методов обо-

На основании этого всего можно утверждать, что Гумбольт целиком примыкает к формуле Аристотеля: звук — понятие — вещь, а толкуя средний термин формулы как субъективное образование (на основе „субъективного восприятия“) [1]), разрешает вопрос в духе и букве концептуализма. Такой результат может ни мало не противоречить кантианству. Сущность последнего — не в отрицании приведенной формулы, а в ее упрощении и перестановке значений составляющих ее терминов. Упрощение началось задолго до Канта, пожалуй, со времени Лока, когда трудности средневековых споров между реалистами и номиналистами пытались рассеять психологической фикцией глухонемых процесов мышления, и когда, в концептуалистических объяснениях, формула из тройственной превратилась в двойственную: понятие — вещь. Кант принял ее, как исчерпывающее разделение, превратил в дилему, и перетолковал в том смысле, что понятие не есть отражение вещи, а, напротив, спонтанное создание ума, составляющее закон, которому подчиняется вещь, как явление. Новые, специфически связанные с кантианством, затруднения вытекают из раздвоения самой вещи на вещь в себе и явление, но в нашем контексте они менее важны и менее интересны, чем создающаяся, при кантовском способе разрешения дилемы, трудность „подведения“ чувственного многообразия явления под чисто интелектуальное понятие. Как-раз здесь особенно наглядно видно принципиальное значение учения о внутренней форме. Оно дает средства радикально покончить, как с затруднением Канта, так и, независимо от субъективистических источников этого затруднения, с исторически накопившимися апориями словесно-логической проблемы. Вместе с этим, надо заметить, оно дает почву для радикальной реформы всей логики. К этому мы еще вернемся (стр. 129 сл.); а теперь остановимся на разъяснении Гумбольта, независимо от предпосылок концептуализма и субъективизма.

Отнесение внутренней формы к сфере понятия или, как

значения одного и того же понятия. Только я думаю, что если первое есть логический акт, связанный с чистым конципированием, то второе,— именно внутренняя форма слова,—есть также логический акт, связанный с словесным и понимающим (уразумевающим).

[1]) Cf. S. 72: „Denn das Wort entsteht eben aus dieser Wahrnehmung, ist nicht ein Abdruck des Gegenstandes an sich, sondern des von diesem in der Seele erzeugten Bildes“.

говорит также сам Гумбольт, к сфере интелектуальной, еще не означает их отожествления. Структура понятия, в особенности мыслимая в диалектическом процессе его образования, сложна, и, поэтому, необходимо точнее указать и положение внутренней формы в структуре понятия, и роль ее в его образовании. (I) Внутренняя форма не могла бы называться формою, если бы имелось в виду, в том или ином отношении, само содержание „чего-нибудь", будь то объективный смысл, субъективное представление или субъективные же чувственные элементы восприятия. (II) Больше того, внутренняя форма, по роли ей принадлежащей, не может быть и относительною формою, т.-е. формою, которая в ином отношении, но в том же плане, рассматривалась бы, как содержание. Она претендует на то, чтобы быть своего рода абсолютною формою, формою форм [1]), высшею и конечною в системе и структуре форм словесно-логического плана. Последние, в своем совокупном многообразии, могут, конечно, рассматриваться по отношению к этой высшей форме форм, как содержание. Но, чтобы ее самоё превратить в содержание, необходимо перенести рассмотрение в иной план значений, отношений и формальных связей.

(I) Как ни очевиден, по простоте своего формального определения, первый тезис, на нем нужно остановиться, чтобы раскрыть его действительный смысл. Второй тезис говорит положительно о безотносительной форме, в то время, как первый противопоставляет ей некоторое как бы безотносительное содер-

---

[1]) Т.-е. формою форм данности, как чувственной, так и смысловой, и равным образом, как звуковых форм слова, так и онтологических. При абстрактном (от слова) рассмотрении мышления, в определении понятия формы форм, в ы с ш е й формы, получаются качели,—от мышления к слову, и обратно. Напр., Штейнталь утверждает (Grammatik, Logik u. Psychologie, 1855), что по отношению к различению формы и содержания мысли язык остается „чисто формальным, содержание и форма мысли одинаково для языка составляют содержание.— — —Язык—форма для того и другого одинаково; они не различны для языка" (S. 361). С тою же убедительностью можно утверждать, что для абстрактной логики форма и содержание языка — одинаково содержание, поскольку она подводит их понятия и суждения об них под свои отвлеченные схемы. В нашем структурном анализе, при сохранении в полной неприкосновенности к о н к р е т н о г о характера с л о в е с н о-л о г и ч е с к и х форм, в ы с ш е е и „абсолютное" положение внутренних форм определяется их единственным, направляющим положением в структуре слова-смысла.

жание („чего-нибудь“). Но, что означает это последнее? — По определению Гумбольта, действительным содержанием языка является, с одной стороны, звук вообще, а с другой стороны, „совокупность чувственных впечатлений и самодеятельных движений духа, предшествующих образованию понятия с помощью языка“ (S. 60). Такое содержание потому и может быть названо абсолютным, что оно, строго говоря, лежит за пределами собственного словесно-логического образования, до него, или является само понятием пограничным. Оно, следовательно, в структуре слова занимает место, в смысле этого последнего определения, аналогичное онтическим формам вещей, о которых слово что-нибудь сообщает. Как эти формы, так и названное содержание, не входят в состав самого слова, как такого, хотя так или иначе на его структуре отражаются. Но только характер чувственных восприятий („чувственные впечатления“), представлений, чувственные эмоции и душевные волнения, вообще все самобытные движения духа, суть процессы субъективные, присущие данному эмпирическому лицу, и лишь ему одному, хотя бы и определенные тем, что по отношению к нему является объектом, тогда как онтические свойства и отношения суть отношения предметные, т.-е. от душевных переживаний лица независимые. Но не трудно видеть, что это весьма принятое противопоставление субъекта и объекта, заимствованное из эмпирического определения психологией своего предмета, с точки зрения более общей и более формальной, напр., логической и методологической, отпадает, так как для нее „лицо“, „эмпирический субъект“, напр., есть такой же объективный (ни от какого „субъекта“ не зависимый) предмет, как и предмет физики, как всякое „вещество“, „материя“, „тело“.

Если и это кажется ясным, то тем самым устраняется из принципиального обсуждения вопроса всякая апелляция к психологии. Всё, что есть психологического в слове и понятии, точно так же относится к содержанию и сообщаемому, как и всё вообще сообщаемое о мире материальном и телесном. Психология и занимается соответственными сообщениями, они же входят в состав обычных жизненных сообщений и в состав мировоззрений, но везде — как специальное содержание. Психология языка есть все-таки психология, а не лингвистика и не философия языка, — как житейское сообщение о состоянии (напр., здоровья и самочувствия) субъекта, переживающего язы-

ковой процес, есть сообщение о душевном состоянии субъекта, а не об объективном языковом факте или отношении. Когда Гумбольт рассуждает о характере языков (§ 20), об их индивидуальных, национальных и пр. особенностях и различиях, он говорит о различии мировоззрений, выражающихся в этих особенностях, прежде всего, со стороны их исторического, социального и психологического содержания. Когда Гумбольт, затем, дает свое класическое разъяснение того, что̀ следует разуметь под „пониманием“ [1]), и поясняет, как при наименовании, напр., лошади, мы, имея в виду одно и то же животное (один и тот же предмет), подставляем, однако, разные представления, „более чувственные или рассудочные, более живые, как некоторой вещи, или более близкие к мертвому знаку, итп.“, он этим пояснением только затемняет собственное понятие внутренней формы. Это пояснение невольно сопоставляется с вышеприведенными примерами разных названий слона в санскрите, и всё это должно толковаться согласованно. Не только „звук“, не только объективно-онтическое содержание, но и душевные переживания говорящего, — сферы для слова, как такого, как условия общения, запредельные. Как выше (стр. 62 сл.) была устранена возможность толковать внутренние формы, как нечто лежащее в составе объективного значения, на том основании, что последнее есть само оформляемое, так здесь мы ведем к тому, чтобы показать невозможность вовлечения их в состав субъективного со-значения, на том основании, что последнее запредельно по отношению к самому объективному содержанию, и в лучшем случае, для последнего — только акцидентально. Речь идет здесь о самодеятельных движениях души, „предшествующих“ образованию понятия и слова и сопровождающих его, т.-е. о психологическом содержании, а не о движущих этим образованием внутренних формах. Самая характеристика субъективных „представлений“, как более „чувственных“, „живых“, итп., есть характеристика психологическая, не приложимая к описанию словесной формы, одинаково законодательствующей и в переживании „живом“, и в переживании „бездушном“. Процесы представления могут психологически разно

---

[1]) Это разъяснение содержит в себе in nuce теорию действительной внутренней формы, формы понимания, как такого (S. 209—см. цитату из Гумбольта, взятую эпиграфом к настоящей работе).

объясняться, в зависимости от того, будем ли мы иметь дело с презентациями, репродукциями, воспоминаниями, зрительными или иными образами, быть может, с патологическими фантасмами, но от этого ни мало не зависит, не только о д и н и т о т ж е предмет, о котором сообщается, но и объективный смысл сообщения и направляющая его, столь же объективная, форма [1]).

Общий результат, к которому принуждает всё сказанное, богаче и шире, чем простое устранение психологизма из изучения словесных форм. Нужно признать не только то, что внут-

---

[1]) Изложенным не отрицается непосредственная передача в слове, как средстве общения, в строении речи („спокойно", „порывисто", „с волнением", итп.), в акцентуации, итд., тех субъективных волнений и переживаний, которыми сопровождается для сообщающего значение сообщаемого им (то, что я в прежних работах называл „со-значением"). Всё это—область е с т е с т в е н н о й экспресии, превращающейся в определенной социальной среде из естественной в к о н в е н ц и о н а л ь н у ю, входящую в намерение сообщающего, когда он хочет произвести, вызвать то или иное впечатление, когда он „играет" в жизни или на сцене известную роль, итд. Всё это имеет большое значение для уяснения смысла искусства, поскольку последнее действительно преследует цель п р о и з в е с т и в п е ч а т л е н и е. Е с т е с т в е н н а я экспресия, как такая, жест, эмоциональность, импульсивность, итд., не есть собственно сфера я з ы к а, как слова, т.-е. социально условного знака, смысл которого с ним не связан, как связывается горение с дымом, падение барометра с атмосферным давлением, прилив крови к лицу со стыдом, итд. Здесь нет отношения з н а к а и з н а ч е н и я, а есть отношение признака или симптома и некоторого реального процеса. Фактически — перед нами один реальный процес, стороны или части которого мы различаем, так, что по присутствию одной утверждаем наличность и другой, и с тем вместе наличность некоторого единого целого. В частности, применительно к экспресивному выражению эмоций и „внутренних" переживаний, можно говорить, как предлагает Штейнталь, о том, что мы имеем дело не со з н а к а м и (Zeichen), а с „в и д и м о с т ь ю (Schein) внутреннего, беря слово видимость в философском смысле, как откровение внутренней реальности" (Grammatik, etc., S. 307). Это—процес чисто физиологический, и о внутренней форме в нашем смысле мы здесь не говорим. Иное дело, когда жест, напр., на сцене или при совершении известного обряда, условная интонация, условный письменный знак,—(всё это встречается и в жизни, но в особенности в искусстве),—когда всё это становится условным знаком душевного переживания или состояния („маска"—persona) даже по отношению к принятой конвенциональной экспресии. Каков бы ни был в таком случае генезис условного знака экспресии, он уже играет роль, аналогичную роли слова, и значит, тут опять поднимается вопрос о внутренней форме. Об этом—ниже.

ренняя форма не отожествляется с содержанием и не входит в его состав, будет ли то содержание объективно-смысловое [1]) или субъективно-психологическое. Нужно признать, что и со стороны своей силы, динамически определяющей течение мысли и диалектику сообщения, внутренняя форма не может толковаться, как акт переживания данного субъекта, как его внутреннее напряжение или творческое усилие [2]). Всё это по отношению к действительной внутренней форме слова есть также содержание, и при том содержание безотносительное, абсолютное, лежащее за пределами оформленно сообщаемого смысла. Гетеанская традиция в истолковании термина „внутренняя форма" должна быть изжита.

(II) Если теперь от того, что „предшествует образованию понятия с помощью языка", и что более или менее случайно, resp. психологически закономерно, сопровождает его, обратиться к самому образованию, то мы должны прямо войти в структуру понятия и рассмотреть второй тезис: о праве внутренней формы на место особого рода высшей формы в словесно-логическом построении. Ясное само по себе положение внутренней формы в структуре слова затеняется, когда, вместо прямого анализа ее, спешат объяснять языковое явление из готового запаса психологических и исторических теорий, отбывших свою службу в соответствующих науках. Представители словесных наук как будто пребывают в убеждении, что движется лишь их собственная наука, а психологические и исторические объяснения остаются такими же, какими они были усвоены языковедами, в годы их юности, из книжек и лекций их учителей. Поэтому, надо считать счастливою и для языковедов ту эпоху, когда, наконец, показано, что принципиальный анализ научного предмета, как такового, и его структуры, вообще ни в каких объяснительных теориях не нуждается. Он производится до всяких теорий. Из этого одного вытекает, что „образование", о котором у нас идет речь, ни в коем случае

[1]) Этот тезис достаточно освещен уже у Марти.

[2]) Ср. contra: „Внутренняя форма поэтического произведения есть душевная жизнь, которая обусловливает индивидуальную органическую стать (Gestalt). Это—внутренняя форма, потому что, будучи формообразующей, она невидимо действует внутри и узнается лишь путем тщательного анализа. Ее источник—мировоззрение поэта". Em. Ermainger, Das dichterische Kunstwerk, 1921, S. 206.

не понимается нами, как какого бы то ни было рода генезис. И, равным образом, это не есть развитие самого смысла. Напротив, как бы это развитие ни объяснилось в истории самого языка и общей человеческой культуры, иманентный руководящий принцип в развитии смысла коренится в законах внутренней формы. Семасиология первична по отношению к реальной истории языков, но производна по отношению к принципам формы развития смысла, т.-е. к учению о формах форм. Из этого, в свою очередь, вытекает, что внутреннею формою, как руководящим законом развития смысла слова, не может быть сам смысл. Это положение кажется тавтологически простым, и его убедительность, казалось бы, исчерпывающе раскрыта А. Марти [1]). Однако, сам Марти убедителен, пока он критикует определение внутренней словесной формы, как значения слова. Но он дает целую вереницу поводов к недоразумениям, когда говорит о внутренней форме, как о форме, постигаемой „только во внутреннем опыте“ (S. 134), об „образе“ (S. 135), „сопровождающем представлении“ (S. 139), „первоначальном значении“ (S. 137), итд. Это—прекрасные поводы для смешения диалектически-конститутивного значения внутренней формы, и с „внутреннею формою“ в гетевском смысле, и с этимологическим значением слова, и с индивидуально-психологическим генезисом или даже объяснением процеса понимания. Но внутренняя форма так же мало „образ“ (Bild), или „представление“, или психический механизм асоциации и апперцепции, как мало она — этимологически исконное (часто известное только лингвисту) значение слова или так наз. первоначальное значение слова, употребляемого в смысле переносном. Действительные проблемы лежат не в подобного рода определениях и отожествлениях, а в вопросе об отношении словесно-логической внутренней формы ко всем названным темам. Из них для анализа самой внутренней формы имеет насущное значение в особенности вопрос об отношении „переносного“ смысла к „прямому“, так как это отношение, как увидим, играет существенную роль в опреде-

[1]) Кроме примеров, критикуемых Марти, укажу еще на оставшегося ему, повидимому, неизвестным G. Glogau, Abriss der philosophischen Grundwissenschaften. II. B. 1888, S. 328 ff., где о внутренней форме говорится, как о „внутренней связи смысла“, и в то же время постулируется die innere Form oder der Sinn des Ganzen.

лении того нового значения понятия внутренней формы, которое выше (стр. 90) было названо квази-логическим.

Итак, если образование понятия ни в каком смысле не есть генезис, то остается его понимать, как некоторое „идеальное" образование, закон которого—внутренняя форма—также остается всецело законом идеального значения. „Образование", в таком случае, непосредственно постигается нами в своем совершении, как некоторое формирование того, что дается в живой речи и мысли, из их контекста цели, установки, итп. Оно постигается, как подчиненное закону внутренней формы, закону, направляющему это оформление и определяющему его. Как идеальное совершение, образование постигается интелектуально и как интелектуальный процес. В этом—высшее и безотносительное положение внутренней формы, как интелектуальной формы интелектуальных форм, и в этом же ее законоопределяющая устойчивость. Такая устойчивость, действительно, присуща логическим категориям,—но, что следует понимать под их образованием?

Гумбольт, имея в виду эту устойчивость, допускает со стороны именно „интелектуальных приемов" (intellectuellen Verfahren, S. 105, cf. 63—64) одинаковость. Но едва ли он достигает цели в разъяснении различия, ссылаясь на фантазию и чувство, а в сфере собственно ума—на „неправильные и неудачные сочетания" (106). Понятия, как интелектуальные, словесно-логические сочетания, суть именно сочетания интуитивно ухватываемой сущности в онтическом содержании с планомерно производимым отбором словесно-логических средств в самом акте сообщения (=мышления), в зависимости от условий контекста и в подчинении высшему закону формирования. Таким образом, понятия, как образования, как результаты, могут обладать какой-угодно устойчивостью, но они проходят через процес образования, который, следовательно, есть ничто иное, как процес формообразования.

Согласно этому противопоставлению результата, итога, и процеса, хода, движения, можно говорить и о разного значения логических законах, хотя, понятно, они сами должны находиться в отношении взаимно отображающем противопоставление результата и движения: результат есть результат движения, а движение есть движение к результату. И, действительно, мы имеем, с одной стороны, концептивные, класифика-

ционные. статические логические формы, составляющие категории самой логики (клас, род, вид, итд.), отвечающие прямо на типы онтологии (формальной), и направляющие образование всякого понятия, как концепта. Высшим формально-онтологическим основанием применения этих категорий к образованию понятий считается принцип противоречия, гарантирующий результату его возможность, каковая и понимается, как отсутствие в логическом результате (в „понятии", как вышеуказанном сочетании) противоречия. Считается, что логическими путями, методами достижения результата служат приемы определения, деления и, основанных на включении вида в род, суждения и умозаключения. Выходит так, как будто все эти приемы и суть те пути образования понятий, которые ведут к хорошо обеспеченному результату, и как будто в их установлении мы и располагаем решением проблемы второй стороны рассматриваемого противопоставления.

С таким упрощением проблемы надо бы кончить. Оно само—результат всё той же абстрактной, глухонемой, бессловесной логики. Определение, деление, включение—не движения, а сами—результаты, не формообразования, а формулы. Они постигаются нами через то же конципирование, а не через понимание и уразумение. Они—мертвенны и схематичны,—препараты, а не жизненные силы. Чтобы ожить, они должны заговорить; чтобы быть понимаемыми, они должны наполниться текучим смыслом. А для этого они сами должны быть приведены в движение, в самом ходе которого мы только и можем уловить их подлинные динамические законы, как законы конкретного образования понятий [1]). Упомянутые формулы—

---

[1]) Известные под названием законов „мышления" онтологические принципы „тожества", „противоречия" и „достаточного основания", кажутся нам мертвыми, и суть только „формулы", потому что рассудочная логика приучила нас рассматривать и применять их изолированно друг от друга. Она боялась собственного исходного пункта, гласившего (Лейбниц), что принцип противоречия есть принцип возможного бытия (идеального), но не только его, а и бытия действительного; в то же время, однако, его одного недостаточно для обоснования действительного бытия, в последнем действует также принцип достаточного основания. Но для рассудочной абстрактности это „также" само уже противоречие! Попытки разрешить его выведением принципа достаточного основания из принципа тожества, над чем ломала голову рассудочная логика, разительно подчеркнули слабосилие последней: в принципе дей-

только запечатление результатов, а законы образования, совершения, процеса, как и законы образования понятий, составляющих, в своих формальных качествах, содержание формул, суть чисто диалектические формы движущегося и движением определяемого смысла, смысла на ходу, в живом разговоре. Речь идет уже не о генезисе и не о функциях психофизического прибора, называемого человеком или субъектом, а об объективном ходе смысла вещей, дней и дел, претворяющемся в науку, искусство, практику. Противоречия, которыми полны сами вещи и деяния, полностью наличествуют в этом движении, живы в нем и одушевляют его к дальнейшему движению самою непримиренностью своею. Преодоления противоречий, запечатленные в абстрактных формулах, здесь только моменты, и при том моменты переходные—к новому движению, подобно тому, как покой есть также только момент движения. Само преодоление противоречий здесь насквозь динамично. Оно состоит в интелектуальном, дискурсивном творчестве, принимающем момент интуитивного узрения сущности лишь за импульс, толчок, отправный пункт для раскрытия противоречия, таящегося во всем статически данном, и для планомерного отбора словесно-логических средств, сообщающих не только о содержании про-

---

ствительности хотели искоренить какую бы то ни было действительность. Названное противоречие, я думаю, может быть разрешено только диалектической интерпретацией самих этих принципов, вместе с чем исчезает и их мертвенность. Я мог бы предложить одну из форм такой интерпретации по нижеследующей схеме.—Принцип тожества есть просто принцип формального, возможного, идеального бытия, но для конкретной действительности он есть только первый (исходный) принцип. А есть А само собою переходит в А не есть не-А, т.-е. нечто в самом себе, в своем тожестве, определено уже, как не-иное, что только есть. Поэтому, неправильно и неразличение принципа противоречия от принципа тожества, ибо, заключая в себе негацию, он не выдает этой негации за абсолютную. В ней есть неопределенность и привативность, создающие для принципа неустойчивое равновесие, которое требует (принцип исключенного третьего) нового перехода к новой определенности и к новому положению. Принцип достаточного основания выполняет это требование, уточняет привативность, как новую определенность, но, в свою очередь, он есть принцип не закрепления, а тенденции, напора к дальнейшему движению. Он гласит: всё, что есть, имеет основание, почему оно такое, а не иное. Всякое положение здесь—начало нового диалектического движения, через тожество, противоречие и новое основание, вплоть до конечного конкретного и целого.

цеса, но и о его направлении и перспективах, его формах и траекториях, наконец, о законе осуществления. Пусть завершение осуществления, как охват целого, *всего*, лежит в бесконечном отдалении, но каждый шаг по пути к нему предъявляет требование полного напряжения сознания, понимания, художественного и культурного творчества.

Понятие, как результат, в своей концептивной форме только потому и определяется свободно от противоречия, что оно—момент, покоий, но противоречие в нем есть, заключено в нем имплицитно, как его потенциальная энергия. Всякое раскрытие понятия в форму любого предложения синтетического типа есть эксплицирование противоречия. Если бы логические предложения, действительно, образовывались по отвлеченной формуле онтологического тожества: А есть А, их вовсе не было бы. Лишь, сами рассматриваемые, как entia, предложения подчиняются этому закону: человек есть животное=человек есть животное. Но уже, как в таком, в предложении: человек есть животное, заключено противоречие, ибо человек не есть животное. Учение абстрактной логики о предложении, как включении, дела не меняет. Для тожества, по крайней мере, определяющего, нет необходимости в указании специфического различия. Но раз оно делается, то, не говоря уже о том, что его установление, *отбор*, есть как-раз *неопределенно* (indefinitum) уводящий процес, всякая условно допущенная остановка,—напр., человек есть разумное животное,—не только вводит новое противоречие: человек есть не-разумное животное, но, с точки зрения принципов абстрактной логики, есть абсолютная непонятность. Почему, в самом деле, разумное животное есть все-таки животное, а не существо высшее, низшее, по сравнению с животным, или вообще вне животного сущее? Лишь в свете понимаемого смысла разумно оправдывается всякая пропозициональная экспликация понятия, и лишь в смысловом движении одинаково может быть оправдано и то, что человек есть червь, и то, что он—бог.

Предложение, как оно живет в стихии языка, не есть включение, не есть импликация, где обратная экспликация имела бы только вербальный или аналитический характер. Оно есть подлинная синтетическая *эволюция*, в строжайшем смысле слова evolutio — evolutio libri! Первая же форма предложения, самая простая и неразложимая на другие предложения, *номи-*

нативное предложение, уже пригодна для такого рода эволюции, ибо обладает неопределенным запасом потенциальной смысловой энергии. Даже обозначение самого неясного „нечто“ собственным именем („— Адам!“), независимо от возможного и сознаваемого смысла имени („земной“, „подобный“ (?)), открывает собою начало смыслового потока („— не-Ева“, „— не-Каин“, „— не-дерево“, итд.), поскольку оно вместе с называнием есть также выражение некоторого избирательного созерцания[1]). А поскольку можно согласиться, что в номинативном предложении запечатлевается и в субъекте (не только в предикате), в том или ином виде, репродукция (собств. рекогниция, воспризнание или узнавание, Erkennung)[2]),— хотя бы самый субъект не обозначался ни именем существительным, ни местоимением,— нужно согласиться, что простое на вид номинальное предложение, в действительности, есть уже система таковых, и, следовательно, заключает в себе уже целую толпу, движущихся в различные стороны, смыслов. И всё это, с геометрически прогресирующими коэфициентами, приходится варировать и повторять о предложениях перцептивных, общих, итр., более сложных по построению и структуре, но, в конечном счете, непременно базирующихся на номинации.

С другой стороны,— и в этом диалектика самого предложения, начиная уже с его номинативной формы,— всякое предложение, вследствие своей сообщающей функции, есть предложение экспонибильное[3]). Это видно из самого существа концеп-

---

[1]) Зигварт (Logik, I, S. 67) правильно указывает на приложимость уже к номинальному суждению (Benennungsurteil) критерия Аристотеля: σύνθεσις νοημάτων ὥσπερ ἓν ὄντων.

[2]) Cf. Steinthal, Grammatik usf., S. 323 ff.

[3]) Несмотря на чрезвычайно важное значение экспонибильных предложений и метода экспозиции для раскрытия истинной природы суждения и предложения, логики XIX и XX вв. удивительно как мало внимания уделяли этому понятию. Между тем у Канта понятие экспозиции играет видную роль (Kr. d. r. V. B 756 ff., cf. Logik. §§ 102—105), и у Фриза (System der Logik, 2. Aufl. 1819, S. 426 ff.) оно нашло уже очень интересную модификацию. Впрочем, у Канта есть расхождение между общим определением термина и применением самого приема экспозиции в Трансцендентальной Эстетике (B 38 ff.), заставившее Файхингера (Commentar, II, S. 155) признать применение здесь термина „неподходящим“. Файхингера смутило то обстоятельство, что Кант, определяя экспозицию, как аналитическую дефиницию, на самом деле, как в метафизике, так и в трансцендентальной экспозиции (Erorterung) про-

тивной определяемости понятий, как родов и видов, и предложений, как включений вида в род. Если так называемые частные предложения абстрактной логики (типа „некоторые", „немногие", „только", итп.) признаются ею экспонибильными, то нужно признать и всякое ее общее утвердительное предложение таким же. Во-первых, по ее же правилам, предикат такого предложения квантифицируется, как частное понятие, во-вторых, если логика допускает, что частное предложение — только неопределенно, и что прогрес знания заменяет эту неопределенность общностью (ср. Бозанкет: „некоторые паровозы..." = „все паровозы типа N..."), то и обратно—общность есть частность („все паровозы типа N..." = „некоторые паровозы серии A..."), что прямо следует из относительности понятий рода и вида.

странства и времени, производит eine sachliche Untersuchung. Но в этом-то и проблема'—Что касается экспонибильных суждений, то Кант определяет (Log. § 31) их, как суждения, в которых содержится в скрытой форме утверждение и отрицание, при чем утверждение высказывается явно, а отрицание — скрыто. Например, немногие люди — ученые: a) многие люди — неученые, b) некоторые люди — ученые. Нужно признать, что определение Канта — шире и интереснее, чем указания, которые можно встретить у новых логиков, относящих сюда преимущественно предложения с ограничивающими словечками „только", „разве только", „ни один... кто", итп., предложения, с виду простые, но, в действительности, разрешающиеся в два и больше простых предложения (ср. столь несходных — психологиста Зигварта, Logik, 3. Aufl., 1904, S. 286, и нео-схоластика Кофáй, P. Coffey, The Science of Logic, 1912, Vol. I, p. 198 — 200). На том основании, что экспонибильные суждения зависят от условий языка, по которым зараз выражается два суждения, Кант считал, что подлежащие экспонированию суждения относятся не к логике, а к граматике Однако, имея в виду, что экспонирование таких суждений делается с целью раскрытия неявных смыслов предложения, их, скорее, следует отнести через герменевтику, в диалектику и в логическую теорию непосредственных выводов. Последнее, кстати, соответствует традиции средневековой логики, внимательно разрабатывавшей проблему exponibilia и связывавшей ее с так называемыми consequentia. У средневековых же логиков, с Петра Испанского, определение экспонибильного предложения дает право находить во всяком предложении экспонибильность. Петр Испанский: Propositio exponibilis est propositio habens sensum obscurum expositione indigentem propter aliquod syncategorema in ea positum implicite vel explicite in aliqua dictione .. (Prantl, Gesch. d. Log., B. III, 67 ff., cf. 152, 381 ff. etc., B. IV 102, 177, 204, 208 f., etc.). Но если оценивать значение слова с точки зрения его контекста, то всякое слово можно рассматривать как синкатегорему.

Наконец, экспонибильность уже всех без исключения предложений, включая и общеотрицательные, вытекает из признаваемых тою же логикою принципов конверсии и контрапозиции. Само собою ясно, что стоит только выйти из рамок этих стесняющих схем в живое слово и конкретное движение мысли, в свободное образование понятий, чтобы увидеть, как возможности экспонирования всякого предложения бесконечно расширяются, вбирая в себя всю, прежде всего, сферу так называемых непосредственных выводов, а затем простираясь и на сферу всех типов умозаключения научной методологии. Вопрос может итти только об открытии законов диалектического экспонирования предложений, законов, управляющих соответствующими методами и приемами распределения смыслов, распространения их в сообщающем слове и подбора необходимых для целей сообщения словесно-логических средств.

Такими приемами для экспонибильных, resp. для всех предложений и способов образования понятий, надо признать,— не исключая, впрочем, и других приемов,— методы экспозиции. И таким образом они становится в ряд не только с логическими приемами определения, деления, демонстрации, итп., но оказываются и их началами, в том же смысле, в каком мы назвали номинативные предложения первыми и также начальными. Экспозицию, в роли начального приема, можно рассматривать, как своего рода процес или образование логического определения, но только, конечно, это есть определение не через включение вида в род, а определение собственного места понятия в системе понятий, в контексте их, понимая систему, как некоторое живое и развивающееся целое, и принимая, следовательно, что каждое „место“ в нем также подвижно и разнозначно, в зависимости от движения и меняющихся требований контекста. Поскольку экспозиция есть метод определения понятий в их словесно-логической форме, она есть ничто иное, как формальная база, корелатом которой, или, может быть, точнее — не корелатом, а необходимым комплементом которой, имея в виду „чистое“ содержание (смысл), как такое, является интерпретация. Отношение между ними такое же, как между концепированием и пониманием,— mutatis mutandis, конечно, в том смысле, что экспозиция и интерпретация суть методы образования, диалектические, а не статические формулы, которые могут регистрировать

и классифицировать только „результаты". Об этом свидетельствует существенная,— принципиальная, а не только эмпирическая,— неполнота каждого данного момента их, и столь же принципиальная возможность восполнения и нового движения. Интерпретация и экспозиция, кроме того, комплементарны еще в том смысле, что интерпретация истолковывает слово в его действительном контексте, тогда как экспозиция имеет в виду как бы всякий возможный контекст, т.-е. некоторую имманентно связанную систему, из которой уже почерпается нужное слово-понятие для действительного контекста. Экспозиция понятий, как форма определения,— это настойчиво подчеркивает Кант (Кр. ч. р., В 757),— есть настоящий способ философского определения (в отличие от математического), и понятно, что мы встречаем его применение уже в самой начальной форме (номинативной) предложения. Как философский прием образования понятий, он существенно заложен в основе всякого научного метода, вообще всякого словесно-логического образования понятий.

Этот, заложенный в самой глубине понятия, принципиальный базис его является тем цементирующим началом для всякого эмпирического слова-понятия, который мы вправе рассматривать, как осуществление закона образования понятий, их формального, в их формальных особенностях, начала, или, формы их формирования, последней, безотносительной, внутренней формы или внутреннего закона. Невзирая на то, что последний не эмпиричен и устанавливается аналитически, он подлинно конкретен и синтетичен (именно потому он аналитически и раскрывается). Кант считал, что экспозиция, как аналитический прием определения данных понятий, не расширяет нашего знания. С этим едва ли можно согласиться, если не признавать кантовской предпосылки безусловного сенсуализма. Только наличие чувственной, хотя бы априорной, (конструирование создаваемых математически понятий), интуиции является для него условием синтеза и познания. Но против Канта свидетельствует наличие интелектуальной конципирующей и, комплементарной к ней, интелигибильной смысловой интуиции. Ни из чего не видно, чтобы мыслимое, как такое, было только аналитично. Напротив, оно именно, как смысловое, со-мыслимое, существенно синтетично. И если приложить другой, кантовский же, критерий аналитического: принцип противоре-

чия, то как-раз мыслимое in concreto, в своем иманентном уже движении, должно тем более быть признано синтетическим, ибо, неся с собою и в себе противоречия, и раскрывая их самим движением своим, оно диалектически развертывает перед нами сами возможности, мало беспокоясь о том, в каком моменте это развертывание будет пресечено стеною принципа противоречия.

Что касается данности понятия, то это — данность лишь вопроса, его постановки, и, следовательно, некоторых условий его решения. В остальном, это — открытый путь для решения, достигаемый развитием всех возможностей, заложенных в данных условиях. По убеждению Канта, наконец, чистый разум не содержит в своем спекулятивном применении ни одного синтетического суждения непосредственно из понятий, в частности рассудок создает надежные основоположения лишь косвенно из понятий, через отношение понятий к случайному, возможному опыту (B 764 — 5). При предпосылке кантовского сенсуализма, действительно, понятия без этого отношения пусты, а при предпосылке его идеализма — заполнить эту пустоту нечем: что бы ни создал его рассудок, всё будет тою же пустотою. От этого отношение к опыту — только случайность, и для суждений разума — не прямой, а косвенный путь. Но если понятия сами по себе не пусты, а в них мыслится конкретный смысл, то в них же самих заложено и прямое отношение к действительности, ибо на нее-то, как на предмет, и направлено ею же осмысленное понятие. Какие бы возможности ни открывались в смысле понятия, они не все случайны, как и обратно, значит, не все переходят в действительность, ибо не все отвечают ей.

Кант видел „нечто печальное и унизительное“ (B 768) в том, что существует антитетика чистого разума, и что разум принужден вступать в спор с самим собою. Не знаю, печально ли, но что же унизительного? Ведь этот спор есть спор возможностей, и чтобы одной из них стать действительностью, надо победить ничем иным, как разумностью, ибо таков титул победителя в этом споре. Для кого же унизительно, что действительность — разумна,—разве только для побежденных, не-действительных? Вся разумность действительности—в том, что она такая, а не иная, и что на это есть основание. Но нигде не сказано, что разумность есть и благородство. Не переносит ли Кант в логику

оценок морали?— Только в романах *любую* возможность можно сделать разумною, в действительности разумна только та возможность, которая осуществилась и стала действительностью, ибо сама действительность есть *разум* того из возможных смыслов, который осуществлен. Осуществленная же действительность в самой себе заключает свой разум, как свое ratio, т.-е. то, из чего уразумевается, почему она именно такая, а не иная. Это последнее уразумение и связывает *непосредственно* единым действительным смыслом понятие и предмет его. Диалектика возможностей, resp. возможных смыслов, есть непрерывный и систематический путь к восполнению неполноты каждого понятия, и этот процесс так же бесконечен, как бесконечна в своей полноте действительность. Прием экспозиции есть прием непрерывного и неуклонного воссоздания системы действительности через включение в нее каждого экспонируемого понятия в его надлежащем разумном месте, и в то же время — раскрытие собственного содержания понятия в систему, согласованную с системою „целого". Так диалектика понятия находит в действительности свое разумное оправдание, в точности соответствует действительности, и руководствуется, в последнем итоге, ее собственной идеей, реализация которой есть завершающая реализация самой действительности, как ее собственного в целом *слова*, т.-е. *культуры*. Такая диалектика,— в отличие от платоновской диалектики гипостазируемой (εἰ ἔστι — εἰ μὴ ἔστι, Parm. 136) идеи, в отличие от кантовских пустых (bloss) идей (nur eine Idee!), в отличие от гегелевской диалектики объективируемого понятия,— есть диалектика *реальная*, диалектика реализуемого культурного смысла, и может быть названа, имея в виду приемы образования элемента культуры—слово-понятия, *диалектикою экспонирующею* и *интерпретирующею*, или, обнимая задачи формальные и материальные в присущем им конкретном единстве, *диалектикою герменевтическою*[1]).

---

[1]) Раз в данной связи пришлось вспомнить о Канте, исторически интересно припомнить также направление, в котором *Фриз* развивал кантовские мысли об экспозиции (J. Fr. Fries, System der Logik, 2. Aufl. 1819, § 93, S. 425 ff.). Определение (das Erklären) есть собственная функция рассудка в образовании понятий. Определение есть составление понятия из других, поэтому, через него нельзя достигнуть первоначального усмотрения (die Einsicht), последнее заключено в предпосылаемых поня-

Итак, внутренняя словесно-логическая форма есть закон самого образования понятия, т.-е. некоторого движения или развития, последовательную смену моментов которого мы называем диалектическою сменою, отображающею развитие самого смысла: его Wandlungen—преображения или даже пресуществления. Это—не схема и не формула, а прием, способ, метод формообразования слов-понятий. Если можно говорить о „внутренней форме", как об отношении внешней сигнификативной формы и предметной формы вещного содержания (вы-

---

тиях, из которых составляется новое Так как цель определения — отчетливость в наших представлениях и сознание зависимости частного от его общих качественных особенностей, то требования, предъявляемые к определению, очень разнообразны, в зависимости от вида познания. Математика определяет понятия с помощью детерминации, ее понятия создаются, это — синтетическое определение. Математика произвольно выбирает слово для созданного ею понятия, словоупотребление — в полной ее власти. В философии положение определения — обратное. Здесь наука имеет мало власти над словоупотреблением. Здесь слово не создается, а предполагается данным в языке, и определение, путем анализа, только показывает, что понимает под данным словом всякий знающий этот язык. В философии учитель обучает ученика не новым словам, а отчетливому постижению им собственных мыслей. Аналитические определения философии называются экспозициями (Erorterungen). „Экспозиция понятия по различным случаям употребления сопоставляет различные отношения понятия и старается его таким образом анализировать". Данное понятие всегда остается здесь правилом для определения: не данное понятие здесь может быть улучшено из определения, а всегда лишь определение—из понятия; таким образом, сложное здесь, по большей части, яснее, понятнее, чем части и признаки, из которых оно состоит. Всё искусство научного развития заключается здесь в том, чтобы путем анализа, в целом уже знакомых, категорий (субстанция, причина, мир, душа) найти и обнаружить правильные отношения этих категорий к целому нашего философского познания (Cf его же Grundriss der Metaphysik, § 21, S. 23 — 24, и System der Metaphysik, 1824, § 21, S 88 — 99).

ше, стр. 93), то это отношение также нужно понимать, как движение, и жизнь внутренней формы надо понимать, как развитие, осуществляющееся в способах соотнесения обоих терминов названного отношения. Гумбольт близко подходит к смыслу такого определения, когда, изобразив язык, как деятельность, энергию, называет его также „работою духа“ (§ 8, S. 56-57), выполняемою некоторым „постоянным и единообразным способом“. Это постоянство и единообразие обусловлено единством самой духовной силы, способной различаться только внутри собственных границ, и направляющейся по цели понимания. Устойчивое и единообразное в работе духа, направленной на то, чтобы довести артикулированный звук до выражения мысли, и составляет форму языка. Постоянное, устойчивое—относительно: по отношению к смене и разнообразию, как звуковой, так и идейной материи, и, во всяком случае, оно не неподвижно. Чаще всего Гумбольт говорит применительно к внутренней форме о способе употребления (Gebrauch) и употреблении, которое дух делает в целях сообщения и взаимного понимания. Характеризуя природу языка (§ 8), Гумбольт из двух принципов его прямо называет второй принцип употреблением звуковой формы для обозначения предметов и связей мысли, употреблением, зависящим от требований мышления, из чего и проистекают общие законы языка (S. 63, cf. S. 97). О том же говорит и основное определение внутренней формы у Гумбольта (§ 11): внутренняя и чисто интелектуальная сторона языка состоит в употреблении звуковых форм. Эта основная особенность языка зависит от согласования и взаимодействия, в котором открывающиеся в языке законы стоят друг в отношении друга и законов созерцания, мышления и чувствования. „Эти законы суть ничто иное, как пути (Bahnen),—[след., не схемы, не формулы!],—по которым движется духовная деятельность в порождении языка, или, пользуясь другим уподоблением, ничто иное, как формы, в которые она отчеканивает звуки“. Здесь же они названы также „интелектуальными приемами“ (Verfahren), т.-е. методами, что̀ и согласуется вполне с характеристикою внутренней формы, как пути.

Имея в виду конкретный язык в его живом движении, и принимая во внимание, что действительное своеобразие его, в его индивидуальных, временных, национальных и пр. особен-

ностях, сказывается именно в его живом и связном движении, тогда как отдельные элементарные составные части его как-раз обладают статическим однообразием, я и называю правила, методы, законы, живого комбинирования словесно-логических единиц, понятий, со стороны их формальной повторяемости, словесно-логическими а л г о р и т м а м и [1]). Такого рода алгоритмы суть также формы образования понятий, и, след., диалектики самого смысла, динамические законы его развития, творческие внутренние формы, руководящие понимающим усмотрением смысла в планомерном о т б о р е элементов, но допускающие свободу в установлении той или иной планомерности, ничем, кроме правды сообщения и соответствия предмету его, не вынуждаемой и не побуждаемой. Под принуждением со стороны самого предмета здесь следует разуметь не пасивное отражение его статически формальных особенностей [2]), а живую диалектическую передачу д е й с т в и т е л ь н о г о, как оно есть, с определяющим его, именно как действительное, р а з у м н ы м. Поэтому-то в сфере словесно-логических структур последним источником творчества надо признать иманентное ему разумно-действительное, и его конститутивные, а не только направляющие, законы. Здесь должна быть обеспечена словесно-логическому культурному сознанию свобода творчества, во всяком случае,

---

[1]) Термин взят не по внешней только аналогии с математическим понятием алгоритма; математический алгоритм есть внутренняя логическая форма математического языка.

[2]) Формальные особенности самого предмета устанавливаются онтологией отвлечено и независимо от их мыслимости. Может, поэтому, возникнуть подозрение, что, как такие, т.-е. прямо не мыслимые, или не входящие в состав смысла-содержания, они и не отражаются на формах слова-знака. Если бы такое предположение было правильно, оно побуждало бы нас к субъективистическим выводам кантианского типа. Но, думаю, что оно—не правильно. Если „содержание“ действительности передается лишь в диалектическом развитии слова-понятия, то ее онтологические формы принудительно определяют форму слова уже с самого зарождения словесно-выразительной интенции. Нужно только иметь в виду не формы „элементов“ и „отдельных“ членов речи, а общее ее движение и развитие. „Составление плана“, построения, композиции, непременно испытывают п р и н у ж д е н и е со стороны формально-онтологических особенностей самого предмета· пространственное расположение, группировка, временная и причинная последовательность, одно-временность, группировка по отрезкам времени в последнем случае синхронистика), итп.

не меньшая, чем та свобода творчества, которая руководится внутренними поэтическими законами в области художественной фантазии [1]).

Наличием указанной свободы в достаточной степени гарантируется то разнообразие живых языков, которое характеризуется не только запасом звукового материала их, но также богатством формообразования во всех сферах языкового проявления. Мнимое противоречие этого разнообразия, с одной стороны, и кажущегося единообразия чистой интелектуальной деятельности, с другой стороны, затрудняло уже Гумбольта, как мы видели, и ставило в совершенный тупик его истолкователей, боявшихся прямого отожествления внутренних языковых форм с формами логическими [2]). Я думаю, что вышеприведенными разъяснениями препятствия к тому устраняются. Словесно-логические, внутренние формы, как формы форм, понимаемые как алгоритмы, суть необходимые и постоянные

[1]) Шпрангер также интерпретирует понятие формы у Гумбольта,— ср. его W. v. Humboldt, Brl. 1909, S. 332 „Form bedeutet also, wie Sommer und Kuhnemann mit Recht hervorgehoben haben, keineswegs Inhaltlosigkeit, sondern ein geistiges, lebendiges Vernunftprinzip, das aus den Tiefen unseres einheitlichen Bewusstseins entspringt und mehr als eine blosse Ordnungskategorie darstellt".

[2]) Ср., напр., искренние недоумения Штейнталя, Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues (2 Bearbeitung seiner Classification der Sprache), Brl. 1860, S. 43—44, Classification, 1850, S. 30—31. При предпосылках отвлеченной (от языка) логики недоумения Штейнталя очень показательны; чтобы подчеркнуть важность разъяснения, которое я делаю в тексте, укажу источники беспокойства Штейнталя Штейнталь сопоставляет заявления Гумбольта, и сопровождает их собственными репликами.—Г. (§ 11, S. 109,—у Шт. страницы по другому изданию, я и здесь ссылаюсь на издание Пота): „Общие отношения, подлежащие обозначению в отдельных предметах [nomen, verbum], и грамматические окончания покоятся большей частью на всеобщих формах созерцания и логического упорядочения понятий".—Шт.: „„Большей частью"", и значит все-таки не целиком, вводится из эмпирической практики; и как неопределенно выражение „покоятся"".—Г. (§ 18, S. 193): „Граматическое формование возникает из законов мышления с помощью языка, и покоится на совпадении (die Congruenz) с ними звуковых форм".—Шт.: Но что значит „законы мышления с помощью языка?" разве есть иные законы, чем законы мышления просто?—Г. (§ 9. S. 63): „Употребление [т.-е. внутренняя форма] основывается на требованиях, предъявляемых мышлением к языку, из чего проистекают общие законы последнего".—Шт.: Но что это за требования? Как мышление приходит

законы „образования слов-понятий", но само это образование, подчиняясь законам, как принципам отбора, свободно в этом отборе и его путях, поскольку вообще может быть свободен выбор средств к данной или заданной цели. Звуковое богатство языка, богатство его внешних форм, resp. их заместителей, создающих благоприятную основу для так наз. граматических аналогий, есть богатство средств, среди которого производится отбор и выбор. И в то же время, другими словами, это и есть ничто иное, как употребление,—в целях мышления, сообщения и понимания,—звуковых и граматических форм и материалов языка,—употребление—свободное и разнообразное при постоянстве, правильности и планомерности путей, методов, приемов. В этом—действительный источник разнообразия языков по типам, нациям, эпохам, групам и индивидам, при полном действии и всеобщих словесно-логических законов, и общих эмпирических граматических тенденций всех этих отдельных языков.

Возникает вопрос: чем же движется само употребление, как данный эмпирический факт, т.-е. само образование слова-понятия в каждом данном случае, создавая ему его единственность чисто эмпирического и практического средства?—Гумбольт дает на это, на мой взгляд, достаточный ответ: существует особое внутреннее чувство языка (der innere Sprachsinn), хорошо знакомое каждому из личного опыта, в особенности, когда возникает сомнение в „правильности" того или иного слово или формообразования и употребления, в уместности его, в пригодности, итп. И Гумбольт, повиди-

---

к ним? как удовлетворяет их язык? как возникают граматические категории из логических? Во всех приведенных случаях Гумбольт отличает формы языка от форм мышления, но вот—напротив,—Г. (§ 10, S. 95). „Общие отношения принадлежат большей частью формам самого мышления",—Шт.: следовательно, формы мышления—те же, что и внутренние языковые формы, и последнее наименование вводится лишь, поскольку они отпечатлеваются во внешних звуковых формах, но тогда и другие приведенные места (особ. § 18, S. 193) нужно понимать так, что граматическое формирование—только запечатление мыслительных форм в звуковых формах, вследствие чего мыслительные формы становятся внутренними языковыми формами.—Вот этого-то Штейнталь и не хочет признать, а потому приходит к выводу, что „отношение граматических форм к логическим у Гумбольта не ясное, а след., и вообще отношение между языком и мышлением не достаточно определенно. А потому он и не может узнать сущности, объема и ценности различения языков" (Classif).

мому, отдавал себе отчет в том месте, которое это чувство занимает в языковом сознании. Оно не есть свойство самого словесно-логического сознания, как такого, его чистой законосообразности, иначе оно было бы непонятно именно, как основа разнообразия. Гумбольт ищет его, как признака, свойства самого действительного, эмпирического человека, хотя и признает за ним значение языкового принципа. „В языке,—говорит он (§ 22, S. 306—7),—поскольку он действительно проявляется у человека, различаются два конститутивных принципа: внутреннее чувство языка (под которым я понимаю не особую силу, а всю духовную способность в отношении образования и употребления языка, следовательно, только направление [тенденцию!]) и звук, поскольку он зависит от свойства органов и покоится на уже доставшемся нам по наследству". И в согласии с этим (§ 10, S. 85): „Чувство языка должно содержать нечто, что мы не можем объяснить себе в отдельных случаях, некоторое инстинктообразное предчувствие (ein Vorgefuhl) всей системы (звуков), в которой будет нуждаться язык в данной его индивидуальной форме".

Эти чрезычайно важные разъяснения могут быть истолкованы нижеследующим образом. Чувство языка необходимо связано, с одной стороны, с самим эмпирическим индивидом, социально сущим, и, с другой стороны, с данным его эмпирическим языком, исторически определенным. Т.-е. это значит, оно не входит, как член, в ту структуру слова-понятия и языка в целом, которую мы рассматриваем, как объект sui generis, когда говорим об идеальном языке, „языке вообще", как условии общения (см. выше, стр. 40—41). Оно не есть, след., объективное свойство, присущее самому слову, как чистому предмету, его смыслу и его формам, внешним и внутренним. Поэтому, оно в самом слове, как таком, и в его структуре, не находит себе определенного объективного запечатления. И тем не менее не подлежит сомнению, что соответствующее чувство реально существует и в эмпирической речи играет свою замечательную роль, обнаруживая себя в том, что выше было названо „употреблением" звуковых форм, и в способах такого употребления. Очевидно, его место, раз мы переходим от языка вообще к данному его речевому проявлению, надо перенести из языка, как такого, и сознания его объективного единства,

в самого говорящего, в индивидуальный, resp. колективный, субъект. Чувство языка, как и артикуляционное чувство (см. выше, стр. 46—47), есть свойство не слова, как объекта, а говорящего, пользующегося языком субъекта, некоторое его переживание, его естественный дар, хотя и обнаруживающийся в его социальном бытии, как средство самого этого бытия. Как артикуляционное чувство, далее, есть сознание речевым субъектом правила фонетических сочетаний, внешних форм слова, так чувство языка есть сознание правил употребления звуковых форм и осуществление внутренней формы в отбирающем образовании эмпирических слов-понятий. Артикуляционное чувство и чувство языка составляют несомненное единство, которое может быть изображено, как особое речевое самочувствие или самосознание: сознание речевым субъектом самого себя, как особого субъекта и всего своего, своей речевой собственности.

Чувство языка можно рассматривать также, как переживание производное,—в том смысле, что в отдельных своих проявлениях оно должно быть фундировано на представляющем и рассуждающем акте. Если предметом последнего не служит слово, как такое, то соответствующий предмет надо искать в самом речевом субъекте, нуждающемся в словесно-логическом выражении своих мыслей и желаний, и располагающем словесными средствами для этого выражения. Мысль субъекта о том, что ему нужно нечто словесно выразить, его желание этого и его стремление к этому, его потребность в этом и нужда, в связи с сознанием своих звуковых (фонетических и морфологических) средств выражения, с сознанием себя, как располагающего этими средствами и способного разбираться в них и выбирать из них, а также в связи с сознанием себя, как сочлена сходных с ним, таких же субъектов, с таким же запасом своих средств выражения,—вот—тот реальный „контекст“, та система вещей, и resp. единства сознания этих вещей, как sui generis единого предмета, в которые, как член системы, должно быть вставлено и чувство языка. Единственный способ, каким наличие этой системы, включающей самого субъекта,—если он, вот, напр., как сейчас, не прямой предмет и смысл сообщения,—может быть связано с объективною словесною структурою, как такою, есть тот же способ, каким вообще „естественная“ и социальная природа человека отра-

жается на этой структуре. Этот способ есть привнесение к значению слов некоторых субъективных со-значений, субъективных реакций субъекта на сообщаемое, и вообще проявления *себя* в нем (в „стиле", напр.,), в виде и формах естественной и конвенциональной *экспрессии*. Безотносительно же к вопросу об отражении такого рода субъективных переживаний в выражаемом словесно-логически, мы имеем дело, след., с проблемою чувства языка, как проблемою, относящеюся непосредственно не к сфере науки о языке, как таком, и не к сфере философии языка, а к подлинной сфере ве́дения психологии, как науки, предмет которой — человеческий субъект. Его идеальное место и значение—не в структуре слова-понятия, как такого, а в некоторой психо-онтической системе [1]).

Штейнталь [2]) сводит мысли Гумбольта в формулу, которою можно воспользоваться, чтобы наглядно иллюстрировать разницу психологической и лингвистической интенций, а вместе и точку их касания. Устанавливается „*два ряда* понятий, составляющих элементы или принципы образования языка:

звук, артикуляционное чувство, звуковая форма или внешняя звуковая форма—

мысль, внутреннее чувство языка, употребление или внутренняя языковая форма".

Психология не погрешает методологически, когда она, в своем изучении фактического, *вещного* психофизического процеса, разделяет его на два (и больше) „ряда", относя каждый из них к особой душевной „способности", проявляющейся в своих особых физиологических условиях. Именно как некоторые гипотетические „способности" или „процесы" или „стороны" единой органической жизни, они составляют ее прямой предмет. „Звуки", о которых идет речь, будут отнесены к более общему класу звуков и подчинены соответствующей общей способности, заведующей не только звуками-фонемами. То же относится к „мыслям", которые, и качественно, и генетически, погруженные в водоем соответствующей способности, растворяются в бессловесных и бессознательных, хотя и зако-

---

[1]) Ср. *мое* Введение в этническую психологию. Вып. I. Изд. ГАХН. 1927.

[2]) Die Sprachwissenschaft W. v. Humboldt's und die Hegel'sche Philosophie, Brl. 1848, S. 101.

номерных процесах асоциаций, слияний, апперцепций, итд.) [1]). Конечно, психология изучает не только изолированные способности, но задачи ее синтеза и восстановления *целого*, как жизненного и органического целого, непременно ведут в направлении восстановления полного психофизического аппарата, выполняющего функции, раздельные или сливающиеся, но всегда руководимые из единого центра: органического индивида, души, субъекта, мозга, итп. Соответственно и названные „чувства", артикуляции и языка, при сведении воедино, должны быть отнесены к своему субъективному центру, отличному от центра письма, центра зрительного, моторного и др., но координированному с ними.

В иной установке предполагается изучение языка, не как деятельности субъекта, хотя бы и социального, а как sui generis социальной вещи: знака, как такого. Наука о языке в этом смысле видит в языке не предмет и „продукт" этой деятельности, а данную заключенную в себе сферу средств социального бытия субъекта. Такая установка на *вещь*, на „мир языка", на его историческую и социальную данность, уже не может базироваться на субъекте, а ее изучение—на психологии. Надо обратиться вновь к принципиальному основанию объективного словесного предмета. „Употребление" тут рассматривается не как, руководимое чувством речевого субъекта, пользование звуковым материалом и его формами, а как образование слова-понятия под формальным руководством внутреннего правила самого языка, как такого. Сообразно этому, принципиальные основы такого изучения надо искать в особой социо-онтологии языка и в анализе конкретной структуры языкового сознания в целом. „Два ряда", а тем более „противоположные" (см. последнее примечание), здесь — бессмыслица. Утверждение их означало бы, с самого начала, простое устранение предмета изучения, как конкретной социальной вещи, одним из признаков которой служит изначальное единство, прототип которого прежде всего, полнее и нагляднее всего как-раз в *слове* и дан. Слово, как предмет социальной (исторической) науки о языке, необходимо есть звук, сопряженный со смыслом (чувственный знак), и

---

[1]) Ср. у того же Штейнталя (ib. S. 99): „Первыми *противоположными* факторами языковой деятельности мы признаем *звук* и *мысли*, кои оба сами по себе лежат еще вне языка".

смысл, запечатленный звуком (понимаемый смысл). Это—единый объект в границах вышеуказанных пределов: фонетического и семасиологического (см. выше, стр. 68).

В связи с этим и понятие „чувств", — артикуляции и языка, — претерпевает радикальную модификацию. Это уже ни в каком виде не факторы языка; субъект, обнаруживающий в них свою деятельность, вообще исчезает из поля зрения. Язык, оставаясь социальною вещью, правда, толкуется динамически, как ἐνέργεια, но в совершенно специфическом смысле, главный признак которого—в том, что ἐνέργεια, будучи его объективною сущностью, есть и его имманентная и единая константа. Необходимое единство этой двухсторонней, но нерасчленимой, „энергии" Гумбольт видит, и он всячески обращает на него внимание. Он относит артикуляционное чувство к „интелектуальной области" (§ 10, S. 96), ибо оно направляется на определенное значение. А с другой стороны, чувство языка есть, как мы видели, „инстинктообразное предчувствие" „всей системы" звукового материала и звуковых форм, и даже прямо на него направляется, выбирая, терпя или предпочитая, тот или иной звук. И наконец, говоря об образовании понятий (§ 11, S. 109) по законам внутренней формы, Гумбольт подчеркивает, что это образование как бы (gleichsam) предшествует артикуляционному чувству (ср. также S. 104), но, в действительности, такое „разделение имеет место только для расчленения языка (Sprachzergliederung), и не может рассматриваться, как нечто существующее в природе".

Таким образом, при установке на конкретный язык, сама эта терминология должна быть признана неудачною, перенесение ее из сферы иного научного предмета ощущается непосредственно, и при том, как препятствие, для устранения которого нужны особые оговорки и напоминания. В конце концов, ясно видно, что Гумбольт сам употребляет термин „чувство языка" в более узком смысле, когда оно противополагается артикуляционному чувству, как чувство внутренней формы, составляющее как бы один из видов языкового сознания, руководящего употреблением внешних форм, и в смысле более широком, объемлющем артикуляционное чувство, когда последнее как бы включается в логический закон слова-понятия и вместе с ним входит в единый акт единого языкового сознания, как „синтеза синтезов" (выше, стр. 51). Повидимому, безопаснее здесь было бы и гово-

рить просто об едином языковом сознании, направленном на такое же всеобщее единство своего конкретного предмета, языка, как такого, в его собственной внутренней самозаконности смыслового движения. Таким образом, обозначается, в принципиальной установке, сфера языка, составляющего, как ἐνέργεια, предмет теоретической лингвистики. Языковое сознание, как область конечного языкового синтеза формирующих форм, конкретно. В своей целостности оно есть член более объемлющего целого—объективного культурного сознания, связывающего слова́ единством смыслового содержания со всеми другими культурными осуществлениями того же содержания. В отличие, след., от психологического субъектного единства, это не есть единство и система механического или органического природного процеса. То, что отличает их, коренится в их онтических предметных особенностях. С этой стороны, природа и язык — разные вещи, имеющие разную историю [1]). Язык, как социальная вещь, сознается, прежде всего, в своих сигнификативных, а не кавзальных, качествах. Как средство, как орудие, язык имеет свою техническую историю, и через это входит в новый контекст истории и техники других сигнификативных вещей и в то же время орудий, потому что такому же техническому развитию подлежит и искусство, и экономика, и любой социальный орган. Но ясно, что изучение самой истории этой оставалось бы слепым без теоретического основания, имеющего свое строгое принципиальное оправдание.

Возможность изучения языка, как предмета, в его культурно-смысловом развитии, в его материальной диалектике, и корелативно в его социально-технической истории, дает основание выделить в особую проблему также законы, формы, приемы, правила самой техники. В порядке эмпирическом это—ориентированные на историю вопросы уточняющейся эвристики, сменяющихся канонов, накопляющихся привычек, принятых правил с принятыми же исключениями, итп.,—словом, вопросы пользования тем орудием, которое называется словом и языком, вопросы граматики, синтаксиса, стилистики и других формаль-

---

[1]) Можно сказать, что и субъект, как социальная вещь, должен найти свое место в эмпирической истории языка, и, след., должен стать одною из проблем принципиального основания, как истории, так и психологии. Это—несомненно, и к этому вопросу мы еще вернемся.

ных техник. Конечно, и они должны иметь свою принципиальную основу. И опять, эта основа—не в деятельности, способностях и функциях субъекта, а в самом предмете и его содержании. Субъект так же мало способен вытекать из себя какую-либо систему форм, по которым разольется текущее вне его, мимо его и над ним, смысловое содержание, как мало способно это последнее предоставить в распоряжение субъекта не существующие в содержании формы. Объективное языковое сознание есть сознание, содержание которого изначально оформлено, и непрерывно меняется не только сообразно формам, но и в самих своих формах. „Образование понятий", словесно-логических форм, есть спонтанный процес самого смысла в его движении, а не деятельность или продукт деятельности психологического субъекта. Законы этого образования, формы этого формообразования, суть логические основы всякой языковой техники, и сколько бы субъект ни трудился над „употреблением" звуков для целей сообщения, он сам существует, только подчиняясь объективным формам и законам этого употребления. А потому и в соответствующем изучении этих законов он—не проблема, и тем более не решение какой-либо проблемы,—он остается в стороне, как проблема чужой научной области, психологии. Но с его устранением из сферы языковой предметности, теряет смысл и последнее, им *для себя* создаваемое, противопоставление звуковой формы и „употребления", как образования понятия по алгоритму внутренней формы. „Употребление" и есть употребление звуковой формы слова; его законы суть внутренние формы того же слова. Внутренние формы, как мы видели, суть *отношения*, в которых термины—внешние звуковые формы и предметно оформленное смысловое содержание. Корелация знака и смысла есть живое и текучее изменение, но оно есть отношение, подчиненное своему диалектическому закону, или, вернее, оно есть его постоянное проявление и осуществление. Языковое сознание в самой последней основе своей и есть *словесно-логическое* сознание закономерности жизни и развития языка в целом. *Логика*, учение о логосе, слове-понятии, здесь—последняя инстанция со стороны словесных форм. Дальнейшее движение сознания может итти только в направлении понимающего раскрытия самого содержания форм, подчиненных безотносительным высшим формам, и его *реальной*, а не только формальной диалектики. Каждый акт

и каждая форма образования слово-понятий подчиняются не только имманентным законам словесно-логического целого, но и разумным законам реализуемого через них культурного смысла. Это есть не только отбирающее творчество форм, но, вместе, это есть также подлинное творчество самого живого слова, как репрезентанта культуры. Сознание внутренних формообразующих сил слова, как источника и возможности всякого сообщения и понимания, есть, вместе, и применение их к осуществлению культурного общения. Таким образом достигается последнее конкретное объединение языкового предмета — в его смысловой ἐνέργεια и в его бытийном социально-историческом становлении, ἔργον, в его качестве условия и в его качестве средства общения, наконец, в его способности репрезентации всей культуры, объединение, заключающееся в том, что само это становящееся в культуре бытие находит свое разумное оправдание в осуществлении разумного смысла по формам разума же. Здесь — принципиальный источник всех реальных принципов.

Такое заключение ко многому обязывает. И прежде всего оно обязывает к радикальной р е ф о р м е л о г и к и. Логика должна быть логикою и методологией живой словесной диалектики, как она осуществляется в конкретной н а у ч н о й культуре. Слово-понятия—не схемы и не концепты, а формы смысла, их образование — свободно-творческое в выборе средств оформления, руководящими целями которого лишь предуказываются пути и приемы. Предикативное применение слов-понятий есть их методологическое самоопределение. Алгоритмы, методы, как формы высказываемых положений, суть подлинно диалектические формы, развивающиеся по своим целям, как словесно-логическим и д е я м („мышление“ естественно-научное, историческое, и т. д.), в своей системе подчиненным одной верховной идее— и д е е н а у к и. Принципиальное оправдание методов осуществления этой верховной идеи—в алгоритмах (логической) экспликабильной в о з м о ж н о с т и, модальные применения которой для логики—предельный вопрос (интерпретации). Но и они непосредственно сознаются, как правила, логическим сознанием, целиком входящим в структуру языкового сознания, как его фундаментальная часть. Другие его „части“, члены, напр., поэтическое языковое сознание, с его алгоритмами отрешаемости, строятся уже на ней, как на своем основании. Предикативное раскрытие, с целью анализа, форм понятий, внутренних словесно-

логических форм, достигается не путем классифицирующего распределения по схемам включения вида в род,—в лучшем случае, это есть только статическое запечатление результата, да и то в ограниченной сфере отношения отвлеченных научных понятий, не обнимающих всего содержания науки. Действительным средством анализа понятий, как таких, в их конкретной, философской жизни, является экспозиция понятия, в его возможных значениях, и интерпретация, соответствующая действительному употреблению и контексту (см. выше, стр. 113 — 114). — К сожалению, здесь нет места для развития этого плана.

Другим обязательством, которое возлагается на нас сделанным заключением, является пересмотр бесконечно длящегося спора реалистов и номиналистов, концептуалистов и кантианцев. Мне представляется уместным, в нашем контексте, уделить этому вопросу некоторое внимание.

Оглядываясь на этот спор теперь, глядя с конца, в свете современного состояния философского знания, нам не трудно уловить его диалектику и открыть причины ее бесплодности. Конечно, безплодна она только в том смысле, что не она сама приводит к последнему решению вопроса, и, таким образом, оказалась вне границ самого спора, но она в высшей степени плодотворна по количеству проблем, приведенных ею в движение [1]). Формальною особенностью этой диалектики, — и в этом причина ее положительной бесплодности,—надо признать то, что каждая пара вступавших в бой понятий жила, пока длилась борьба, а затем погибали оба бойца сразу, взаимно уничтожая друг друга. Здесь не было ни победы одного из понятий, ни восхождения к более высокому синтезу. Взаимноуничтожение выражалось в том, что, на первых порах исключающие друг друга лозунги, с течением времени до неразличимости начинали походить один на другой. Но это приводило не к примирению их, а лишь к перемещению их или к перемене рода оружия. Казалось, одна пара понятий сменяла другую, а в действительности

---

[1]) Настоящей истории этого спора, вскрывающей всю философскую проблематику им развернутую, у нас еще нет. В высшей степени скромное, но, может быть, всё же начало такой работы можно видеть в книжке Кютмана, который начинает с сумарного указания основных проблем, связанных с вопросом; нетрудно увидеть, что каждая из названных им пяти проблем, есть заголовок целой системы их (A. Kuhtmann, Zur Geschichte des Terminismus, Lpz., 1911, S. 4).

менялось место спора: из метафизики в логику, из логики в граматику, затем в психологию, в гносеологию. Из этого видно, сколько драгоценных вопросов раскрыто в течение спора. Но если мы искренне желаем решить, наконец, самый этот спор, то надо обратиться к началу его и решительно и искренне признать ошибку в самом возникновении его. Пора догадаться, что самый вопрос изначала поставлен, в форме дилемы, неправильно. Ложно — первое противопоставление (Платон—Аристотель), ложны—все производные. Ложен—первый тезис о разрыве двух миров (или неправильно формулирован), потому ложен и антитезис (возражение [1]) τρίτος ἄνθρωπος), а, след., и аристотелевский синтез. Их ложность уже формально обнаруживается в том, что тезис и синтез противопоставляются, хотя должны только отожествляться. Единственный способ решать такого рода дилему—отвергнуть обе ее части, и искать решения вопроса, формулируемого ею, до ее собственного возникновения, вскрывая предпосылки, наличие которых было источником неправильно заданного тезиса [2]).

Последовательно проведенное утверждение реализма в теории понятия знает две крайности: рассудочный трансцендентизм (Псевдо-Платон) и мистический иманентизм (типа Мальбранша). Обе крайности, однако, означают одно и то же: отрицание вещной действительности, илюзионизм, голое противостояние идеи слову. Т. наз. „умеренный" реализм, будто бы примиряющий „разрыв" последовательного реализма, на самом деле, держится на формуле: вещь—представление—слово [3]), т.-е., сам собою, меняя метафизическую позицию на психологическую,

---

[1]) J. Kaufmann возобновляет этот аргумент против некоторых учений современной философии (Das τρίτος ἄνθρωπος Argument gegen die Eidos-Lehre, Kant Studien, 1920, B. XXV, 214 ff.). Мне кажется, что соответствующие недоумения разрешаются нижеприводимыми соображениями и вообще учением о внутренней форме.

[2]) Из этого я исходил уже в своей книге „Явление и смысл", М. 1914, но тогда я еще не усвоил понятия „внутренней формы", и потому конечное решение вопроса только предчувствуется, а не достигается в полной мере.

[3]) Изящно проведенную схематику возможных типов учений, построенных на комбинировании идеи, вещи, понятия, термина, см. у П. Флоренского, Смысл идеализма, 1914, стр. 17—21. На занимаемой мною позиции я исхожу из пункта, лежащего до расчленения комбинируемых здесь элементов, вследствие чего и само расчленение у меня

переходит в концептуализм. Номинализм (терминизм), в свою очередь, имеет две крайности. Первая — утверждение одних, ничего не выражающих, слов, flatus vocis,—куда подходит разве один Горгий, — т.-е. откровенный, веселый нигилизм. Другая — нигилизм тяжелый, меланхолический, не решающийся отрицать, по крайней мере, феноменов, а во всем остальном— ищущий (ζητητικός), хотя и без надежды на находку. Но если наверно существуют только феномены, то и словесные знаки—не более, как те же феномены, а след., получается чистый феноменализм и скептицизм [1]). Наибольшим распространением, однако, начиная с Вильгельма Окама, а в новой философии — с Беркли и Юма, всегда пользовался номинализм „умеренный", составляющий ничто иное, как скрытую форму концептуализма, держащий universalia, как у Окама, tantum in anima, или принимающий само слово, как у Беркли, за концептивный субститут [2]). Таким образом, опять психология препятствует замене логики грамматикою.

Триумф откровенного концептуализма, однако, омрачается вопросом, на который психология не в состоянии дать удовлетворительного ответа. Если принять священную троицу концептуализма, — слово — представление — вещь, — то, что же мы обозначаем словом: концепт или самоё вещь? Концепт посредствует, говорят, и мы знаем вещь только через него. Но если мы не знаем вещи иначе, как через концепт, то ее самоё мы не знаем, и назвать ее непосредственно не можем, или, что—то же, мы называем лишь концепт, и, не зная вещи, не знаем также, в каком отношении называемый концепт находится к вещи. Для психологии было бы крайне неразумно попробовать утверждать,

---

производится иначе, и никаких комбинирований уже не допускает, за исключением обращения к первоначальному конкретному единству; и вообще для меня важнее диалектическая филиация возможностей, чем их счисление.

[1]) См. мою статью „Скептик и его душа", „Мысль и Слово", 1921, Т. II, особ. стр. 116

[2]) Мнимый номинализм, в действительности, скрытый концептуализм Беркли убедительно вскрыт Мейнонгом, Hume-Studien, I: Zur Geschichte und Kritik des modernen Nominalismus, 1877 (Gesammelte Abhandlungen, B. I, 1914).—Для опорочения номинализма Окама достаточно одного его заявления: Verba sunt signa manifestativa idearum, suppositiva rerum (цит. Kuhtmann, S. 17).

что вещь иманента представлению; она выкидывается в трансцендентное, и вот—возникает тот самый разрыв, из беспокойства о котором возник весь спор. Но если в метафизике он имеет хотя бы видимость смысла, в психологии он — бездарная бессмыслица: действительные вещи действительного мира распались на две груды, каждая претендует на звание действительности, из чего следует, что между ними должно быть действительное взаимоотношение, но у нас нет данных признать за этим отношением, или за одной из претендующих сторон, законные, повидимому, права их на действительность. Только путем обмана и самообмана, не производя никакого расследования, мы соглашаемся признать это „повидимому" за уже обоснованный факт, и лишь этим путем достигаем возможности говорить о действительности, как о едином целом, в котором все вещи взаимодействуют. Сама психология возможна только потому, что исходит из предположения о разрешимости всех указанных недоумений и закрепленности за всеми вещами их законных прав. Так происходит еще одно смещение плоскости спора, и вопрос стоит теперь о праве вещи называться разными именами, а в том числе и именем „вещи". Вопрос переносится из психологии в гносеологию.

Поставить его здесь, с виду, чрезвычайно просто, и он, как будто, сам собою принимает форму дилемы. Вещи имеют право быть называемыми по концептам, если между вещами и концептами есть взаимное соответствие. Так как и сами слова, будучи называемы, называются, как вещи или как концепты, то вопрос и сводится к взаимному отношению концептов и вещей, ничего третьего не существует. Если мы знаем вещи только через концепты,—а иначе, в самом деле, как нам их узнать?—то, или мы верим (наивный фидеизм), что концепты с большею или меньшею точностью отображают вещи, дают более или менее хорошие копии неведомых оригиналов (агностицизм), или концепты ничего не отображают, не даны нам, как некие копии или образы вещей, а мы допускаем (гипотетизм), что концепты нами же самими созданы, содержат в себе вещи, которые для нас суть ничто иное, как явления (субъективный идеализм). Если мы примем первый член дилемы, мы утверждаем права вещей, в их концептивной отображенности, называться всячески, в том числе и „вещами", а если примем второй член, то те же права принадлежат конципируе-

мой, что значит здесь—нами конституируемой, феноменальности.

Мы пришли, таким образом, к пресловутой гносеологической дилеме Канта. Нетрудно видеть, что она в модифицированном виде воспроизводит изначальную метафизическую дилему. И если первая же постановка вопроса в такой форме была ложною, и единственный способ выйти из сети, связанных с нею софизмов, состоит в том, чтобы, отринув обе части ее, и ее в целом, утвердить на ее место положительную задачу в форме прямого положительно тезиса, то такой же участи должна подвергнуться и эта последняя ее модификация. Между тем за малыми и всё еще недоведенными до конца попытками уйти от дилемы, найти основной принципиальный вопрос всего знания до нее, до возможности возникновения ее, вся послекантовская философия,—идеализм так же, как и реализм, спиритуализм так же, как и материализм,—до последнего времени, попадались в нее и бились в ее мертвой петле.

Если бы формулированная Кантом дилема была построена правильно, оставалось бы только, признав убедительными доказательства несостоятельности первого члена дилемы, и отвергнув его, принять второй член. Как бы ни казался он сперва парадоксальным, перед философскою критикою стояла бы положительная задача его изъяснения, раскрытия подлинного, не парадоксального смысла „коперниканства“ Канта. Последователи Канта это и пытались сделать. Но чем глубже они вскрывали мысль Канта, тем яснее становилось, что фатальный „разрыв“ имеется и у него. Неизбежность радикального устранения изначальной ошибки стала тем более настоятельною, что, при субъективистической предпосылке, гносеология Канта необходимо превращалась в вывернутую на субъективную изнанку метафизику [1]). И, следовательно, можно сказать, в итоге всей диалектики, проблема вернулась к своему исходному пункту, с тою только разницею, что она возникла из неправильной формулы, а теперь оказалось, что формула мнимого копер-

[1]) NB! собственное заявление Канта: „Основоположения рассудка суть лишь принципы изъяснения явлений, и гордое имя онтологии, притязающей на то, чтобы дать, в виде систематического учения, априорные синтетические познания вещей вообще (напр., основоположение причинности), должно уступить место скромному имени простой аналитики чистого рассудка“ (Kr. d. r. V. B 303).

никанства выражала ложное содержание. Историческая заслуга Канта—в его отрицании, положительный же вопрос о праве решен ложно: субъект (рассудок) узурпировал права вещей, отняв у них все источники,—(признавалась действительною только его собственная санкция),—их самобытного существования. На деле, законодательствующий субъект оказался начисто изолированным от своих подданных („явлений"), и, вот, опять—пропасть между рассудком и чувственностью: два ствола, выростающие „может быть" (!) из одного общего, но, „нам неизвестного" (!!) корня (Kr. d. r. V. B 29). Вместо того, чтобы рыть в глубину и отыскать скрытый от нас корень, Кант ищет средств, с помощью которых можно было бы связать стволы и кроны, и хотя бы этим добиться вожделенного единства [1]). Соответствующую роль у Канта призвано играть его, в некоторых отношениях замечательное, учение о „схематизме чистых понятий рассудка". Выполнение идеи у Канта—небрежно и странно узко („схемы"—„схемы времени"). Оно подверглось, в деталях, уничтожающей критике даже со стороны многих кантианцев (как всегда, особенно резок был Шопенгауер). Но сама идея и некоторые замечания к ней заслуживают внимания. Правильно развитая, она могла бы быть основанием логики, как учения о слово-понятии (логосе), и отправным пунктом положительной диалектики [2]).

---

[1]) Действительный корень известен, однако, уже по тому одному, что из него проросла диалектика, как о том свидетельствует Аристотель, когда он рассказывает, в чем состояло отличие Платона от пифагорейцев. „введение эйдосов получилось из рассмотрения слово-понятий (предшественники Платона не располагали диалектикою)",—Met. I, 6,987 b, 12: καὶ ἡ τῶν εἰδῶν εἰσαγωγὴ διὰ τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἐγένετο σκέψιν (οἱ γὰρ πρότεροι διαλεκτικῆς οὐ μετεῖχον),—след., от Гераклита!—Если бы от Платона до нас дошло не больше, чем от Фалеса, но только сохранилось бы это свидетельство Аристотеля, на его основе можно было бы реконструировать подлинное, неискалеченное дегенерацией Плотина, начало положительной философии.

[2]) Гегель считал учение о „схематизме" „одною из прекраснейших сторон Кантовой философии", поскольку в нем ставится цель объединения абсолютных противоположностей чувственности и рассудка, но в то же время считал, что Кант не достиг цели: получились не ein anschauender Verstand или verstandiges Anschauen, а рассудок и чувственность, каждое из них, сохраняют свою особенность, объединение осталось „внешним поверхностным" (Gesch. d. Philos., III, S. 516). Вообще это учение Канта вызвало значительную литературу, некоторые итоги которой подводятся

Кант, развивая свою идею, сообразно цели: примирение, воссоединение чувственности и рассудка, прибегает к целому ряду пояснительных терминов. Он говорит о подведении (subsumptio) предмета под понятие, созерцаний под понятие, о применении (Anwendung) категорий к явлениям, об употреблении (Gebrauch) рассудочного понятия, о синтезе (воображения) и правиле его, о приеме (Verfahren), методе, о некоторой монограме (чистого воображения), и наконец, просто о некотором третьем, однородном и категориям, и явлениям, что́ должно делать возможным применение первых ко вторым. Одно обилие разъясняющих терминов, и в особенности смысла их, указывает на то, что Кант подошел к проблеме исключительной важности. Но, с другой стороны, такая форма постановки вопроса дискредитирует путь, которым Кант дошел до нее. Если есть какое-то единство, однородность, тожество, то их проблема должна быть первой, до всякого разделения,—что́ и было основною заботою после-кантовского идеализма Шелинга, Гегеля, и что́, в сущности, составляет основное и естественное условие самой возможности диалектики. Провозглашение проблемы после утверждения некоторого принципиального различия—свидетельство некоторой ложности в самом различении. Оно закрывает от нас какую-то непосредственную и первичную полную данность, а не разоблачает ее,—недаром Кант сам называет схематизм „некоторым скрытым искусством в глубине человеческой души“ (B 180). Но наибольшая опасность, конечно, в характеристике объединяющего момента, как третьего,—тут-то и вторгается [пресловутый τρίτος ἄνθρωπος, ненасытный, требующий нового третьего между первым и третьим, нового—между третьим и вторым, et in infinitum. Неудача Канта в определении схем отдельных категорий завершает всё его предприятие, и еще раз подчеркивает несостоятельность его пути.

в статье E. R. Curtius, Das Schematismus-Kapitel in der Kritik der reinen Vernunft (Kant-Studien, B. XIX, 1914, S. 338—366). Эта статья заслуживает полного внимания. Она ни мало не спасает кантианства и учения о „схематизме“, но весьма способствует правильному пониманию последнего. Составленная по методам филологической интерпретации, она, надо думать, положит конец многим бесплодным пререканиям и кривотолкам.—В нашей литературе большое значение учению о схематизме, „логическое, психологическое и гносеологическое“, приписывал И. И. Лапшин, Законы мышления и формы познания, 1906, стр. 259—262.

Но в чем же заключается идея схемы? есть ли положительный смысл у этого понятия, и в чем он?—В самом термине, мне думается, уже дан на это некоторый предварительный ответ. „Схема“ обозначает, прежде всего, внешний образ, фигуру (figura), но затем и некоторый внутренний распорядок, как бы правило построения внешнего образа. В этом смысле уже греки называли схемою некоторое правило или порядок граматических и риторических (метафор, итп.) форм. В таком же смысле схема применялась и для обозначения фигур силогизма, некоторого порядка, правила расположения терминов в умозаключении. Думаю, с большим вероятием можно предположить, что Кант заимствовал термин из силогистики. Схема или фигура силогизма, как известно, определяется положением среднего термина (τὸ μέσον),—в этом смысле Кант и мог говорить о „чем-то третьем“ (tertium quid). И поэтому-то такую роль в его изложении играет понятие подведения (subsumptio), которое Кант понимает не в смысле логического учения о предложении (подведение субъекта под предикат), а в смысле учения о силогизме (подведение данного положения под правило) [1]). Это—не образ (das Bild, B 181) эмпирического воображения, подчеркивает Кант, а скорее правило, которое делает возможным составление самого этого образа, некоторый общий прием или метод воображения, при помощи которого создается образ к данному понятию (180),—так, напр., схема трехугольника означает правило синтеза воображения по отношению к чистым пространственным образованиям (Gestalten, ib.). Идея „схемы“, таким образом, достаточно ясна. Но чего Кант хотел достигнуть с ее помощью? Что кроется за бесцветными метафорами: „объединение“, „подведение“, „посредничество“? Ответ самого Канта также чрезвычайно важен для нас. Категории без схем суть только функции рассудка применительно к понятиям, но они не представляют никакого предмета, а следовательно, это—понятия, не имеющие никакого предметного значения (Bedeutung, 187, 186), лишенные живого смысла, скажем мы. По собственным словам

---

[1]) Ср. собственную Логику Канта, § 56 и сл.—Поэтому, прав и Курциус (l. c, S. 349), когда он, после тщательного выяснения термина „субсумпция“, приходит к выводу, что она относится к учению об умозаключении.

Канта, „схемы чистых понятий рассудка суть истинные и единственные условия, которые могут доставить этим понятиям отношение к объектам, т.-е. значение“ (B 185).

Все это—интересно и поучительно, но невольно вызывает вопрос: не потому ли понятия рассудка оказываются пустыми, понятиями без смысла, без понимания, что Кант с самого начала изображает рассудок глухонемым, бессловесным? И если слова, как такие, так же безусловно отодрать от мысли и смысла, как Кант раздирает мышление и чувственность, то не понадобятся ли схемы уже, как „некоторое“ четвертое? И, с другой стороны, если понятия—не готовые формы, натягивающиеся на предмет, как сапоги на ногу, конечно, по правилам и с соблюдением некоторых приемов, а сами образуются „по правилам“ и сообразно смыслу, то эти правила и нужно понимать, как формы образования самих понятий, оформленного смыслового содержания, как алгоритмы приемов, ведущих к запечатлению, выражению и сообщению смысла в системе условных внешних знаков, коих оформление, в свою очередь, не может не сообразоваться с теми же правилами образования понятий, с формами форм, с внутренними словесно-логическими формами. Так не только преодолевается всякий концептуализм, неувядаемый дух которого витает и над схемами Канта,—(ибо его схемы можно понимать, особенно, в его распределении их в виде схем времени, как своего рода концептуализм второй степени),—но так закладывается и основание для той радикальной реформы логики, о которой была речь выше.

Всем сказанным мне хотелось внушить читателю, что в этой реформе не должны быть забыты идеи Гумбольта о внутренней языковой форме, и вместе, след., подчеркнуть высокую плодотворность понятия, затрагивающего такие широкие и основные проблемы. И едва ли можно было бы доказать, что эта идея Гумбольта не находится ни в какой связи с учением Канта и кантианством самого Гумбольта. Об этом прямо свидетельствуют не только внешние характеристики внутренней формы у Гумбольта, как „приема“, „употребления“, „синтеза, итп., но и весь внутренний смысл учения, и в особенности его назначение в понимании мыслимого и сообщаемого. Нижеследующие соображения Гумбольта, связанные с его кантианством, можно прямо принять, как поправку теории глухонемого мышления на учение о мышлении словесном. Так как, рассуждает

Гумбольт, никакое представление не может рассматриваться только, как пасивное созерцание уже наличного предмета, то надо признать, что сама субъективная деятельность образует в мышлении некоторый объект. Деятельность чувств синтетически связывается с внутренним действием духа, представление вырывается из этой связи и становится по отношению к субъективной силе объектом, и опять возвращается в нее, как вновь воспринимаемое представление. Но для этого необходим язык. В нем духовное стремление пролагает себе путь через уста, и результат этого стремления (слово) возвращается к уху. Представление перемещается в действительную объективность, не отрываясь, однако, от субъективности. „Это возможно только при помощи языка; и без этого перемещения, поддерживаемого языком, хотя бы оно совершалось в молчании, без этого перемещения в возвращающуюся к субъекту объективность, невозможно образование понятия, а след., и никакое истинное мышление“ (§ 9, S. 66—7). Каковы бы ни были собственные неясности и неточности Гумбольта в изображаемой картине, всё же из сравнения его основной идеи с учением Канта видны значительные преимущества гумбольтовского подхода к вопросу: возможность постановки первого принципиального вопроса до категорического разделения единого словесно-логического акта и его результата, сохранение за словопонятием конкретности на всем протяжении его анализа, динамический характер интерпретации его формальной структуры, и никогда не теряемый из виду общий культурно-смысловой контекст, как словесно-логического предмета, так и корелативного ему единства культурного сознания.

Поправка Гумбольта к отвлеченной теории мышления имеет в виду, неизбежного для живого мышления, словесного его носителя и направляет всю теорию на конкретный факт культурного сознания, включающего в себя всякое мышление, будь то прагматическое или научное, как свою составную часть или органический член. Такой вывод нисколько не является неожиданным при определениях и предпосылках, с которыми мы работаем: определение слова в его результате, как некоторой социально-культурной вещи, а в его процесе, как некоторого акта социально-культурного сознания. И этот вывод— не простая тавтология. В нем обнаруживается действительно новое, если мы углубимся в приводящий к нему путь и свяжем его с утверждением, которое всем сказанным внушается, на первых порах, по крайней мере, как предположение. А именно: слово, со стороны своих формальных качеств, есть такой член в общем культурном сознании, с которым другие его члены—гомологичны. Другими словами, это значит, что слово в своей формальной структуре есть онтологический прообраз всякой культурно-социальной „вещи". Превратить это предположение в общее правило не трудно, если обратить положение, что слово есть культурно-социальная вещь, показав при этом, что признаки слова, как культурно-социальной вещи, суть существенные признаки всякой культурно-социальной вещи. Разумеется, речь идет только о формальных признаках. И тогда ясно, что всем предшествующим именно эта теза и была раскрыта: слово есть единственный совершенно всеобщий знак, которым может быть заменен всякий другой знак, сколько мы вообще всякую социальную вещь рассматриваем, как знак. И это непосредственно вытекает также из того, что слово, как знак, есть, во-вторых—средство общения, а во-первых—условие его. Поэтому, какие бы модификации ни

вносились в структуру социальной вещи ее содержанием и функциями (политическими, художественными, религиозными, ипр.), формально она всегда—гомологична словесной структуре, подобно тому, как признаются гомологичными руки, плавники и крылья позвоночных. Поскольку логические формы отвечают вообще всяким идеально-предметным формам, становится ясным почти безграничность того обобщения, которому подвергается понятие внутренней формы. В анализе всякого культурно-социального образования мы должны уметь выделить, наряду с формами внешнего запечатления и онтическими формами социального предмета, также всякий раз—формы их взаимоотношения, как формы реализации смыслового содержания этого предмета, всякий раз—особые внутренние формы. И лишь последние, как алгоритмы, т.-е. формы методологического осуществления, способны раскрыть соответствующую организацию „смысла" в его конкретном диалектическом процесе.

Здесь не место вскрывать реформирующее значение этого обобщения во всей его широте и уяснять всю его принципиальную роль в методологическом обосновании социальных наук. В нашем контексте это обобщение интересно только со стороны одного возможного вывода из него: применительно к искусству. Искусство есть социальный факт, подчиненный своей особой сфере культурного, именно художественного сознания,—в частности, след., и поэзия, как особый вид искусства, с особого рода поэтическим сознанием. Наш ближайший вопрос относится к этой частности и особности, но таково свойство предмета, что это совершенно специальное обращение проливает свет на всю проблему структуры художественного предмета.

Вопрос о поэзии, и независимо от нашего обобщения, иногда формулируется, как вопрос о поэтическом языке, в отличие от языка прагматического вообще. Сказанное обобщение принципиально оправдывает такую постановку вопроса. Если мы попробуем углубиться в это различие, на первый взгляд—очевидное, мы скоро убедимся, что все-таки элементы, из которых складывается та и другая система языковых явлений, одни. Действительное различие между ними обнаруживается только тогда, когда одно целое противопоставляется другому. Но в то же время мы убеждаемся еще в том, что, проводя наше противопоставление, мы сопоставляем формально не совсем

однородные вещи. Поэтический язык выступает перед нами, как внутренне цельная система, проявляющая себя, как такую, во всяком данном поэтическом произведении. Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т.-е. словесного творчества, руководимого не прагматическою задачею, а внутренней идеей самого творчества, как sui generis деятельности сознания. И ничто иное, как эта целемерность, определяет собою поражающие нас единство и цельность. Оно же, целемерное созидание, руководимое собственной идеей, есть тот признак, по которому мы определяем поэзию, как искусство, в отличие от других видов социально-культурного творчества, цели которого лежат в той же сфере прагматического сознания. Именно это последнее обстоятельство скрывает от нас творческий характер прагматического сознания, и нам кажется, что в его сфере никаких творческих интенций, как целемерных устремлений, не существует и, во всяком случае, они нам непосредственно не даны. Нужно особое внимание к самому процесу и анализу его теченья, чтобы убедиться в его творческом характере.

Только научный анализ вскрывает целемерные формы того, что мы называем прагматическим языком, и раскрывает в нем граматическую и логическую систематичность. До этого, непосредственно, мы не замечаем его, как произведения, а, скорее, сопоставляем его с необходимо данными феноменами самой природы, видим его только со стороны его естественно-психологической, а не социально-культурной. Но раскрыв однажды его творческую природу и осознав соответствующие интенции его, мы противополагаем поэтическому языку систему прагматического языка в тех его формах, где указанные интенции выражены полностью и ясно. Таким образом, мы приходим к более определенному противопоставлению языка поэтического и языка научного, или же поэтического и прозаического, в последнем, затем, выделяя также своего рода искусство—риторику, с целями внутренними, где язык—не только средство, и науку, где язык—только средство, а не прямая цель творчества. Проблематика здесь раскрывается сама собою; всюду для нас остается ясным природа языка, как социально-культурного целемерного созидания и произведения.

Сопоставляя теперь единства с единствами, системы с системами, мы убеждаемся, во-первых, в том, что прагматический

язык, с интенциями ли научными или риторическими, одинаково, можно сказать, пользуется словом prima facie, как средством, и лишь побочно сознает его самодовлеющие цели, как культурного феномена, тогда как поэтический язык лишь вторично осуществляет и прагматические цели, играет роль средств, а на первый план выдвигает свои собственные внутренние цели саморазвития. Во-вторых, мы убеждаемся в том, что именно это последнее обстоятельство делает поэтический язык, поэзию, искусством, т.-е. sui generis культурно-социальным явлением, с п е ц и ф и ч е с к и м в сфере самого языка, как такового, в его целом.

Теперь я могу, не опасаясь эквивокаций, поставить вопрос, к уяснению которого перейду. Язык, как такой, в его целом, имеет свои внутренние законы, формы форм, в выше разъясненных внутренних л о г и ч е с к и х формах. В этом он—прообраз всякого культурно-социального феномена, который должен иметь свои гомологичные внутренние формы. Искусство есть культурно-социальный феномен, который, как средство в ы р а ж е н и я [1]), между прочим, может служить также цели сообщения. Его роль в этом смысле аналогична слову, и мы можем говорить соответственно о его внутренних формах, как подлинно логических. Но так как искусство имеет еще и самодовлеющие культурные цели, не прагматические, то, с этой точки зрения, не только каждое отдельное произведение искусства, но и каждое искусство в целом, могут рассматриваться, как средства нового, „высшего“ еще, назначения. Другими словами, если можно сказать, что роль прагматического средства кончается выполнением его „прагмы“, то роль художественного произведения, как средства, далеко не исчерпывается тем, что оно вошло в культурно-социальную систему, как некоторое исторически определенное выражение, как простой исторический ф а к т. Из этого видно, что даже с о о б щ а ю щ е е искусство не покрывается одними логическими внутренними формами. Оно должно иметь также с в о и особые, логическим формам, впрочем, также гомологичные, формы. Если мы найдем искусство, которое никогда в своем „выражении“ не служит цели сообщения, в та-

[1]) Этот многозначный термин имеет применительно к различным искусствам разный смысл. Различение этих смыслов — задача особого этюда.

ком искусстве должны исчезнуть собственно логические внутренние формы, и останутся одни художественные. Если бы мы сделали само сообщение, как такое, самодовлеющею целью, и превратили бы его в своего рода искусство, сколько бы мы ни вносили в него элементов и внешних форм, заимствованных от другого искусства, сколько бы мы ни пользовались таким сообщением для прагматических целей (моральное „воздействие", напр., на воспринимающего сообщение), оно было бы лишено подлинной внутренней художественной формы. А если бы мы, к тому же, игнорировали и прагматические цели, и превратив средства выражения в самоцель, стали бы культивировать их, в их внешних качествах и формах знака (звучности, созвучности, ритмичности, итп.), в их „декоративности", доставляющей, быть может, непосредственную усладу и развлекающее удовольствие, но служащей стимулом лишь к техническому усовершению формы, мы ничего не получили бы, кроме, враждебного подлинному высокому искусству, техницизма (ср. стр. 83-84 прим.) (в частности, эстетизма). Но если мы найдем искусство, которое всегда является средством сообщения, но в то же время не ограничивает своих задач целями последнего, а преследует также названные самодовольные цели, то ясно, что такое искусство, подчиняясь законам внутренних логических форм сообщения, в то же время будет руководиться своими особыми, хотя, как сказано, и гомологичными логическим, художественными внутренними формами. Такова, в идее, поэзия, как словесное искусство. Она имеет логические внутренние формы, но вместе с тем и свои особые, художественные, поэтические внутренние формы. И таково, следовательно, общее положение вещей: как средство к прагматической цели, всякое социальное явление имеет свои внутренние логические или им гомологичные внутренние формы. Искусство не есть исключение из этого правила. Но оно становится исключением, поскольку оно носит свои цели и в самом себе,—тогда оно образует еще и вторую систему внутренних форм—художественно-поэтических.

И действительно, практический язык общежития, от самых обыденных, фамильных и фамильярных, способов пользования им и до самых исключительных, праздничных и торжественных, включая всю жизнь и деятельность общественной организации человечества, есть средство общения, имеющее

постоянною целью prima facie сообщение. Сообщаемое, на всех указанных ступенях общения и во всех формах последнего, может сопровождаться и сопровождается также второю целью: сообщение не только понимается, усваивается и ведет к действию, но также производит свое „впечатление", которое может служить и добавочною целью к цели сообщения, добавочною уже потому, что оно подчинено общей цели самого сообщения. Лишь научное сообщение намеренно избегает этой добавочной цели, оно хочет достигнуть своей практической цели средствами чистого сообщения. И это, в идее, настолько, что сама эта чистота становится его внутреннею и самодовольною целью, через то как бы освобождаясь от непосредственной практичности, по крайней мере, поскольку последняя неразлучна с действием через впечатление, с экспресивностью. Однако, обратно, сосредоточение усилий на последнем, способное дойти до уничтожения смысла и намерения сообщения, в сфере практической, еще не ведет к созданию поэтического языка. Практические цели сосредоточенного на впечатлении языка лишают его свободного словесного творчества, впечатление— только прагматическое средство, и потому риторический практический язык—область от поэзии отличная. Из всего этого само собою видно, что то, что отличает поэтический язык от практического: прагматического, как научного, так и риторического, есть наличность новой стихии, отличной и от чистого сообщения и от чистого впечатления. То специфическое, что отличает поэзию, что делает поэтический язык художественным, что является возможным носителем чисто эстетического переживания его, не исчерпывается ни логическими формами, ни стилистически-эмоциональными или экспресивными формами слова. Именно отсутствие носителя художественного и эстетического в логически оформленном слове и необходимость заполнить этот пробел заставляют нас признать, что в поэтическом языке есть нечто свое, что констатируется, как неразложимый в другие языковые формы остаток, который в своих формальных качествах составляет проблему формы самого поэтического языка. И нужно принять эти формы также, как систему особой структурности, систему, входящую в язык, в общую структуру слова, как такого. Эти формы немыслимы, следовательно, без отношения к общесловесным формам, внешним и внутренним. И больше

того.—это сразу видно, и потому сразу должно быть отмечено,—они ни в чем ином, как в этих отношениях, и не состоят. Направленность художественного творчества на самого себя, а не на прагматические цели, только в том и состоит, что оно неизменно, как свою внутреннюю форму, имеет в виду сами эти отношения. Они—подлинный объект и руководящая идея поэтического творчества.

Наличие особых поэтических внутренних форм в языке раскрывается еще другим способом. Мы видели, как Кант, который совершенно абстрактно анализирует процесы мышления, должен был прийти к уяснению роли воображения даже в научном мышлении [1]). Гумбольт, имея в виду язык в его целом, и рассматривая его со стороны его внутренней формы, как „интелектуального приема“ (§ 11, S. 105), с самого начала допускает, в качестве источника языкового разнообразия, не одинаковую степень действия силы, создающей язык, у разных народов, а затем, как мы уже знаем, и нечто, что нельзя „измерить рассудком и одними понятиями“—фантазию и чувство. Вопросы о роли фантазии и о роли чувства в языковом творчестве—разные вопросы, их анализ приведет к открытию и разных предметных особенностей в структуре слова. Но, как это ни грубо, временно допустим их объединение. Для Гумбольта не должно быть неприемлемым, если бы, далее, мы характеризовали интелектуальную и устойчивую [2])

[1]) Признание участия воображения в научном мышлении—общее место. И поскольку речь идет о самом процесе научного творчества, как психологическом факте, или о психологических условиях эвристических приемов научного мышления, эмпирическая психология не может отрицать роли воображения. Другое дело—методологический и принципиальный анализ науки, как такой. Здесь вопрос ставится и решается иначе. Как я старался выше показать, здесь дело—не в воображении, а в свободе словесно-логического творчества. Его действительный смысл—в возможности осуществления отбора, свободного, но руководимого своим принципом и целью научного познания. Последняя задается самою действительностью, и постольку—необходима. Правила же, осуществляющие цели, внутренние логические формы, как всякие средства, выбираются, в этом—свобода. Но раз выбранные, они связывают научное мышление методом и организацией. Известна работа Б. Эрдмана: Die Funktionen der Phantasie im wissenschaftlichen Denken, Brl. 1913. Я готов признать тезу автора: „Die wissenschaftliche Phantasie ist durchweg eine gedanklich oder urteilsmassig bestimmte.“ (S. 44).

[2]) „Es kann scheinen, als mussten alle Sprachen in ihrem intellectuellen Verfahren einander gleich sein“ (S. 105).

„силу" языкового творчества, как сторону объективности по преимуществу, а языковое творчество в области фантазии и чувства, как сторону по преимуществу субъективности. Как бы мы ни истолковывали сферу последней, со стороны своих формальных свойств она должна представлять нечто самостоятельное по сравнению с первою, и притом должна быть сферою преимущественного словесного творчества. Соответственно, „правила" и идеи, руководящие творчеством, составят самостоятельную область внутренних форм, координированную все-таки с формами интелектуальными, логическими.

Романтические теории, вероятно, настаивали бы на полном произволе творческого воображения и, след., на отсутствии каких бы то ни было „правил". Эти теории находят себе кажущееся подтверждение в том отношении, которое имеют к действительности рациональное творчество, с одной стороны, и свободное творчество фантазии, с другой стороны. Если там существует и должно существовать соответствие, то здесь — полный произвол самого творческого субъекта. Однако, если мы захотим отделить художественное творчество от простой мечтательности, потока сновидений, бессвязного галюцинаторного бреда, итп., то именно художественное творчество носит на себе все следы величайшего напряжения, под влиянием которого простой асоциативный или персеверационный поток образов превращается в планомерно конструируемый организм. И законы такой органичности творчества в области воображения отнюдь не суть законы соответствующих переживаний, как психофизических или психологических феноменов, а суть именно правила, лежащие в самом организуемом матерьяле, его собственные формы, сочетаемые и упорядочиваемые соответственно руководящей идее творчества. Свобода здесь только в том, что такая идея лежит не вне данного матерьяла и его форм, а в них самих, и потому автономно осуществляется в их единстве, как в художественной форме форм. Последняя приобретает в творчестве фантазии верховное и господствующее значение, так что там, где матерьялом творчества служат логически оформленные смысловые содержания, слова, там логическая внутренняя форма перед лицом художественно-поэтической уже теряет свое высшее безотносительное положение (см. выше, 101 сл.), а вместе с тем, след., и свое разумно-действительное основание. Логическое становится содержанием по

отношению к поэтической верховной форме. Последняя соотносится к действительности только через логическую, и как бы свободно играет действительными отношениями там, где логическая форма серьезно и верно передает или „отображает" то, что есть, в конституируемом ею слове. В этом—смысл и оправдание художественных форм, как sui generis приемов поэтической речи, рядом с приемами логическими, но таким образом, не в исключение их.

Однако, и здесь должна найти свое осмысленное истолкование апелляция к действительности. Правильно то, что творческое построение фантазии не руководится самой действительностью и ее законами, как своею основою, и его формы не суть формы передачи действительности, „воспроизведения" ее и сообщения о ней. Но из этого не следует, что построение фантазии создается в полном отрыве от действительности и в безусловной изолированности. Действительность здесь—не объект точного изображения и сообщения. Но это—только потому, что соответствующий объект иманентен самому творчеству и, по сравнению с действительностью, всегда представляется, как некоторый идеал, а по сравнению с действительным предметом — как некоторый квази-предмет, идеализованный предмет [1]). „Правила" творчества исходят от него, но он сам никогда не оторван начисто от действительности, так как он заключает в себе ее же, только преобразованную. Это преобразование — свободно, т.-е. не обусловлено никакими прагматическими целями, хотя бы, однажды запечатленное, оно и применялось в целях практических (воспитания в широком смысле). Условием свободы служит то, что прагматическая действительность, подвергаясь преобразованию в фантазии, тем самым модифицируется в „действительность" отрешенную: „Ты ласкалась, ты манила, И от мира уводила В очарованную даль" („рифма" — Пушкин). Отрешенность объекта есть первый и существенный признак фантазируемого; в самом элементарном акте фантазии, не выходящей даже за пределы форм в действительности данных вещей, мы вкладываем в эти формы отрешенное от действительных связей и отношений предметное и смысловое содержание. Смысл фантазируемого понимается

[1]) Но не идеальный—в смысле эйдетическом (математическом, философском, итп.).

нами не из какого-нибудь действительного контекста, а лишь из контекста соответствующего идеала, хотя бы и соотносимого, в свою очередь, к логически сообщаемой действительности. В произведении искусства, с другой стороны, мы только потому и видим заключенное в себе единство, „органическую“ цельность, внутреннее самодовление, что, отрешая изображаемое от прагматической действительности, само произведение создает себе собственную отрешенную действительность, содержание и контекст которой—не внешнее окружение, не „среда“, а углубление в идеал, в его конструктивную цельность.

Таким образом, дело фантазии в художественном и поэтическом произведении состоит не в голом и хаотическом или капризно-своевольном отрешении, как это имеет место при пустой мечтательности, а в организации, оформлении, подчинении закономерным приемам, методам и алгоритмам. Художественное произведение как-раз не дает мечтательности расплываться, сдерживает, стесняет, обуздывает ее. „Идеал“ предуказывает соответствующий закон и „правило“, формующую форму или художественную форму форм, а последняя создает уже приемы и пути непосредственного образования художественных образов. В поэзии, таким образом, троп оказывается аналогом понятия, как идеал—предметною формою содержания, оформляемого в „образ“ или в троп, как слово-образ, под конститутивным руководством внутренней художественной, поэтической формы. Отношение идеала к действительности сохраняется и соблюдается, поскольку упомянутое преобразование опять-таки не плод мечтательности и сновидения, а есть преобразование по соответствующей идее художественного оформления. Искусство начинается с того, что подлежащее изображению подвергается преобразованию согласно этой идее, включаемой, вдыхаемой, внутрь самого изображаемого. Внутренне заключенная в нем, она с первого момента, с первого толчка отрешения, сама руководит преображением его в художественно оформленное, ибо она и есть та самодовлеющая цель, осуществление которой по внутренним художественным формам есть само свободное художественное творчество. Без усмотрения этой идеи художественное отрешение не мыслимо, опять оно было бы простою мечтательностью и галюцинацией. Так в произведении искусства мы имеем дело все-таки с действительностью, но возведенною в идеал, идеализованною,—что неточно иногда характе-

рируется, как создание типа или „типического образа“,—модифицированною фантазиею и потому ставшею действительностью отрешенною, и наконец, в процессе творчества преобразованною согласно самой идее художественности. Формы такого преобразования, как формы образования слов-тропов, суть поэтические внутренние формы, законы образования поэтической речи.

Многим представляется фактом самоочевидным, что лишь только мы переходим от чисто интелектуальной деятельности познания к воображению, мы вместе с тем переходим к эмоционально-насыщенному, окрашенному всеми возможными чувствами. И в этом нередко готовы видеть существенный признак поэтического творчества в отличие от научного. На этом и основывается иногда противопоставление *сухого* понятия *живому* поэтическому образу. „Образ“ не только сообщает, но и производит *впечатление* на нашу эмоциональную сферу, и это—прежде всего, так что из-за одного этого будто бы мы даже игнорируем сообщаемое, принимаем его даже при его ничтожестве. Ложь такого представления прямо опровергается фактом: к величайшим поэтическим произведениям никогда не могут быть отнесены произведения ничтожные со стороны просто сообщаемого ими. Ложь, след., будто поэтическое произведение существенно характеризуется только производимым „впечатлением“. Такое „впечатление“ есть лишь возможность, и потому оно составляет в поэтическом произведении момент производный, а не конститутивный и определяющий. Внутренние формальные условия этой возможности, то в художественном произведении, что является основою и источником возможного „впечатления“, суть подлинный стимул художественного творчества, независимо даже от желания или нежелания художника вызвать впечатление, а зрителя или слушателя—проникнуться им. Последствием названной лжи бывает, что, вслед за признанием определяющего значения за „впечатлением“, начинают искать *его закона*, и довольно последовательно ищут его в *эстетическом*. В итоге само художественное или поэтическое произведение определяется не по организующей фантазию форме и ее „правилу“, а по способности вызывать эстетическое впечатление, организующее общую совокупность эмоциональных впечатлений поэтического произведения. Особая сумятица от нерасчлененных понятий получается, когда

ко всему этому присоединяется еще неумение отличить просто удовольствие, доставляемое внешними формами художественного произведения и приводящее иногда к дурному эстетизму, от подлинного эстетического наслаждения этим произведением.

Между тем, самые элементарные расчленения, уже помогают прояснению действительного положения вещей. И прежде всего должно быть разбито понятие *субъективности*, которую выше (146) мы лишь условно допустили, как объединение фантазии и чувства. Приняв это объединение в интересах противопоставления его, как некоторого целого, *объективной* системе научных понятий (терминов), мы однако, из анализа роли фантазии уже можем убедиться, что последняя, если и не объективна в смысле точной и адекватной передачи действительности, то во всяком случае, объектна, предметна. Поэтому, законы поэтического творчества, сколько в нем участвует воображение, суть не законы психофизической жизни человеческого субъекта, а *формальные основания*, объективно-идеально направляющие творчество. Лишь при признании этого положения приобретает действительный смысл и то утверждение, которым придается такое значение эстетическому наслаждению. Последнее, как переживание фундированное, необходимо требует своего предметного определения. Внутренние поэтические формы, несомненно, *могут* быть предметным фундаментом эстетического наслаждения, и весь процес отрешения действительности, возведения фономена действительности в идеал, преобразования этого фенемена по идее художественности, несомненно, *может* сопровождаться эстетическим наслаждением. Но только *может*, ибо и вообще фундирующее основание по отношению к фундируемому только *потенциально*. Этим и объясняется большое количество и большой успех эстетических теорий, настаивающих на чисто субъективном характере эстетического. Но именно поэтому, т.-е. в силу чистой потенциальности эстетической предметности, не следует эстетическое принимать за определение художественного и поэтического. Для поэзии таким определением остается только сама поэтическая внутренняя форма.

Но если таким определением не может быть эстетическое впечатление, то тем более им не может быть совокупность эмоционального впечатления от художественного произведения. Если можно спорить о том, вызывается эстетическое насла-

жденное только художественным произведением или также природным явлением, поступками человека, итп., то тем больше основания имеет такой спор о других эмоциональных переживаниях, вызываемых художественным произведением. И во всяком случае, прагматическая речь, не-научная, бывает насыщена разнообразной эмоциональностью не в меньшей мере, чем поэтическая. Но в чем же ее источник? Откуда почерпается материал для всей надстройки эмоционального впечатления от художественного произведения? Нетрудно убедиться, что такая надстройка есть или непосредственное выражение соответствующих чувств сообщающего индивида, т.-е. естественная экспресия самого сообщающего лица, или она намеренно,—как подражание „естественной" или как некоторая социальная конвенциональность,—привносится им к его сообщению, с целью произвести нужное впечатление, и, при случае, вызвать некоторый практический эфект. Когда, однако, практическое намерение отсутствует, и вообще впечатление, как цель, полагается не вне самого творчества, думают, что это и есть задача самого художественного произведения. Я не спорю против того, что творчество в сфере воображения может ставить себе такую задачу, принимая ее за внутреннюю задачу самого творчества (роман!), но я только утверждаю, что это—не задача *поэтического* творчества.

Намеренное привнесение указанной надстройки просто пользуется естественным опытом экспресии, и в творческом сознательном процесе возводит ее там, где она помещается и естественно. Но таким ее фундирующим основанием всегда является чисто *внешнее оформление*,—поскольку речь идет о поэзии,—слова. Личные, индивидуальные и колективные (школа, эпоха, итп.), особенности эмоционального словоупотребления запечатлеваются в объективных особенностях синтаксической конструкции, интонации, мелодии, и пр. Эти особенности в своей совокупности создают объективно определимые *манеры*, *жанры*, *стили*. Можно ли здесь найти признаки, существенно отличающие поэзию, как художественное творчество, от прагматической речи? Нет,—в обоих случаях мы имеем дело с потенциальными носителями некоторого эмоционального впечатления, и критерия для принципиального различения их не существует. Намеренность может иметь место в прагматической речи точно так же, как имеет место ненамеренность

в условной речи данной манеры или данного стиля. Можно было бы сослаться на привнесение в поэтическую экспресию эстетически регулирующего и эстетически умеряющего эмоциональное впечатление коректива. Наиболее показательным примером тут могла бы быть т. наз. стилизация. Но для правильного разрешения вопроса необходимо сделать еще одно различение.

„Умеренное" эстетическое удовольствие, можно сказать чисто физической природы (подобно удовольствию от теплой ванны, от нечрезмерного аромата розы, от освежающего ветерка, итп.), имеет мало общего с подлинным эстетическим наслаждением, поглощающим всё наше существо [1]). Такое удовольствие, во всяком случае, не предполагает никакой отрешенной действительности, в качестве своего основания, и не предполагает непременной деятельности фантазии. Оно остается всецело внешним и на поверхности воспринимаемого предмета, одинаково, как прагматического, так и поэтического, и, след., утверждаемым критерием быть не может [2]). Если же оно предполагает подлинное отрешение, работу фантазии, как это и бывает при „стилизации", как художественном приеме, то и последний, в свою очередь, предполагает свое правило, свой особый алгоритм. Таким образом, здесь на внешности, в царстве одних внешних форм, созидается особая еще система экспресивных „внутренних" форм, составляющихся из отношения некоторого рода условных, „символических", форм экспресии и форм экспресии естественной и конвенциональной, которые служат как бы предметно-смысловым экспресивным содержанием тех высших, уже безотносительных форм [3]). Они не только гомо-

[1]) Основною работою по этому вопросу для нашего времени остается исследование М. Гейгера, Beiträge zur Phanomenologie des ästhetischen Genusses (Jahrb. f. Philosophie u. phänom. Forschung, B. I, Th. 2, 1913).

[2]) Наиболее грубыми примерами „внешности", доставляющей простое „удовольствие", отличное от подлинного эстетического наслаждения, могут служить: благозвучие речи, матовая или полированная поверхность мрамора, дерева, вообще блестящая поверхность, перламутр, „бархатный" тембр голоса, итд.

[3]) В искусстве сценическом они приобретают особо важное значение. Подробнее здесь на них не останавливаюсь, чтобы не отвлечь читателя от элементарных различений, которые надо усвоить прежде всего. Ниже я к ним вернусь.

логичны внутренним поэтическим формам типа тропов, но и аналогичны им, так что их можно было бы назвать внутренними фигуральными формами. Они аналогичны, потому что выполняют сходную функцию и одинаково служат потенциальными носителями эстетического наслаждения. Но они не тожественны, потому что внутренние фигуральные формы могут быть и вне поэзии, вне художественного вообще (напр., в церковной проповеди, в дипломатической ноте, итп.), вне творчества воображения (как рассудочное, „канцелярское", подражание). А раз фигуральные [1]) формы могут быть всюду там, где есть экспресия, а значит, не только в поэзии, то и сопровождающее их эстетическое наслаждение, точно так же, как и простое удовольствие, искомым критерием служить не может

Из этого всего видно, что если мы не хотим усложнять своего анализа, нет надобности обращаться за разрешением возникающих трудностей к новым производным факторам, вроде эстетического. Наоборот, должно быть ясным, что сама эстетика станет обоснованной, когда достаточно будут освещены здесь поставленные вопросы объективного художественного оформления [2]). Поэтому, если мы захотим решить вопрос о поэзии не через выделение поэтической речи из прагматической, а через простое противопоставление ее творчеству интелектуальному, и скажем, что поэзия, как искусство, основанное на творческой силе воображения, в противоположность

---

[1]) Называю фигуральными в отличие от внутренних поэтических, как тропов по преимуществу, вспоминая разделение старых риторик. См., напр., Кошанский, Общая реторика (цит. по 6-му изд. 1839 г.) „Тропы — язык воображения, пленительный и живописный, основанный на подобиях и разных отношениях; а фигуры—язык страстей, сильный и разительный, свойственный оратору в жару чувств, в стремлении души, в пылком движении сердца" (стр. 107).

[2]) Не нужно забывать, что словесно-логическое и словесно-поэтическое в анализе слова есть знак, связанный с объективными предметами и смыслом весьма сложными, как мы убеждаемся, отношениями. Но для эстетики сами отношения,—формы форм, законы, алгоритмы, правила, итп., — фундирующие предметы, сжимающиеся до онтически определимых единиц, через сплетение которых проникнуть к последней основе—действительности и даннности вообще—труднее, чем от элементарных логических понятий или художественных тропов и символов. Решать проблемы поэтического художественного языка с помощью эстетики, значит, без нужды накоплять к неизвестному новые неизвестные.

интелектуальному творчеству, характеризуется наличностью эмоциональной экспресивности, то вопрос о последней, как отличительном и существенном признаке поэзии, надо решить независимо от роли в ней эстетического фактора. И здесь придется повторить то же отрицательное решение, которое уже найдено по вопросу о том же различии поэзии и прагматической речи вообще. Интелектуальное, рассудочное, точно так же может быть фундирующим основанием эмоционального переживания и источником эмоционального впечатления, как и воображаемое. Тенденция чистого научного мышления здесь не показательна, есть сферы, где мы планомерно пользуемся словом, но не ставим цели очищения слова от эмоциональной его силы, и в то же время имеем дело не с поэзией, и даже не с искусством, во всяком случае, не с искусством „свободным" (не-прикладным).

Напоминание о некоторых фактах в данном случае—аргументация наиболее убедительная. Известно, что некоторые увлекательные метафизические системы приобретали широкое распространение, главным образом, благодаря, сопровождавшему их возвышенному эмоциональному акомпанименту. Это одинаково относится, как к учениям положительным, так и к отрицательным. И если еще можно сказать, что такие построения, как построения, напр., Шелинга, Фехнера, Фейербаха, Спенсера, и под., при всем их различии, именно в том сходны, что вводят эмоциональное начало в само содержание свое, то, с другой стороны, можно указать построения принципиально рационалистические и тем не менее преисполненные чисто мистического подъема, как системы Платона, неоплатоников, Скота Эригены, Мальбранша, Спинозы, Гегеля. И если поглубже вдуматься, то можно убедиться, что во всех последних примерах мистические обертоны философских учений—не случайные спутники, а необходимые комплементы, сопровождающие, как вдохновенье, наиболее утонченные анализы и возвышенные подъемы чистейшей и совершеннейшей работы одного р а з у м а. И все же здесь разум иногда изменнически предается во имя им самим вызванного мистического духа, когда, захваченный его эмоциональною силою, силою чистого интелектуального наслаждения, метафизик превращает этот мистический дух из состояния вдохновенья в особый и с т о ч н и к познания. Философское учение этим выводится в тираж, но, по причине именно эмоциональности, может еще долго, как

метафизическое мировоззрение, увлекать читателя и очаровывать. Именно эта завлекающая психология поддерживает и те гностические, чисто рассудочные учения, которые с настоящею мистикою ничего общего даже не имеют, но нагнетают ее в свои рассудочно-схематические костяки, разукрашенные фантастическою пестротою алегорических, символических, эмблематических тряпок. Сюда относятся разного рода гностические, теософские, профетические конструкции, счетные и расчетные упованья Раймунда Лулия (ср., напр., увлечения Дж. Бруно), словесные водометы Якова Беме, параноические космические системы, сверхмунданные видения Сведенборга, и всевозможные случаи графомании и пситацизма. Такое словесное творчество иногда бывает до перегруженности эмоционально насыщено, и всё же никто всерьез поэтических форм в нем не ищет. И однако, всякое метафизическое построение, как и всякого рода так наз. мировоззрение, будет ли оно воздвигаться на основе религиозных верований, мифологических истолкований, естественно-научных и исторических популяризаций,—всё это есть своего рода литературное словесное творчество. Только оно прямо на логической базе воздвигает свою эмоциональную надстройку, не знает посредства подлинных поэтических внутренних форм, и как бы такого рода литературу ни квалифицировать, она не может называться искусством поэзии.

Было бы чрезвычайно важно условиться в этом, и последовательно проводить соответствующую точку зрения на словесное творчество. Ибо есть еще области словесного творчества, где отличие от поэзии менее заметно и где все-таки мы имеем дело не с поэтическим искусством. Согласимся такого рода литературные жанры, где чувственный тон накладывается непосредственно на логическую базу, фундируется непосредственно логическими формами, где пафос вовлекается в самоё аргументацию, где последняя перемежается воплем, мольбою, жалобою, угрозою, где чередуется обращенье ad rem с обращеньем ad hominem, согласимся это всё называть риторическим и риторикою. Тогда, в отличие, как от научной (терминированной) речи, стремящейся вовсе элиминировать эмоциональную окраску слова, или допускающей ее только для выражения личного интереса автора к своему предмету, но отнюдь не в качестве аргументации, так и в отличие от поэтической (тропированной) речи, пользующейся эмоциональною

силою слова, но только через посредство внутренней поэтической формы, отрешающей и очищающей действие эмоции, мы получим недвусмысленно самостоятельную сферу словесного творчества. В широком смысле искусственности и искусности, необходимости соблюдения технических правил и обладания техническою сноровкою,—всё это есть „искусство". Мы исчерпаем все виды такой технически искусственной речи, если присоединим еще тот тип, где прагматические цели сами собою определяют технику слова,—речи, освобождающейся от эмоциональности и тем не менее не научной, a sui generis, как речь канцелярских бумаг, государственных и гражданских актов, прейскурантов, каталогов, библиографических указателей, итп. В отдельных случаях, когда они снабжаются эмоциональным тоном (манифесты, торжественные провозглашения, итд.), они подходят к риторике, в других — к научной речи (библиография, каталоги, проспекты, итр.), но никогда—к поэзии. Среди выделяемых из общей речи, „естественной", четырех названных искусственных типов речи лишь поэзия остается подлинным свободным искусством, остальные три типа или прямо, или косвенно—типы прикладного искусства, техники.

Если в этом условиться, то нас уже не введет в заблуждение упрощенное количественное определение, основывающееся на подсчете элементов речи того или иного типа. Несомненно, что в речи риторического типа, как иногда и научного типа,—некоторые популярные изложения, некоторые системы мировоззрений,—может войти большое количество „образов", тропов, что так же мало превращает соответствующий тип в поэзию, как мало поэзия превращается в научную речь, если в нее вводятся слова, составляющие термины для науки и техники. Поэтому, к вышеназванным примерам риторической речи непосредственно должны быть присоединены и такие типы словесных построений, как, в более узком смысле, моралистические, резонирующие трактаты, от самых скучных рассуждений Цицерона, Сенеки, Смайльса и им подобных, до самых эмоционально-колоритных — Эклисиаста, Паскаля, Фихте, Эмерсона, Карлейля, Ницше, итд. Сюда же должно быть отнесено и всё то, что теперь подводится, во-первых, под название литературной, художественной и пр. критики, так наз. публицистики и фельетона, и, во-вторых, под литературную форму романа и новелы, независимо от количества в них

поэтических элементов, тропов,—в ницшевском „Заратустре" их наверное больше, чем, напр., в любом романе Золя, но, как словесное искусство, это—один морально-риторический тип.

Таким образом, решающим для отличия поэзии, как искусства, от морали, как риторики, во всех ее видах, всегда остается наличие внутренней поэтической формы, как правила-алгоритма построения. Эмоциональное впечатление, создаваемое поэтическим произведением, есть сложный процесс, опосредствуемый внутренней поэтической формою. Этим определяется и ее собственное место в структуре слова: отношение, связывающее внешние экспресивные формы (синтаксические, стилистические) с логически готовым смыслом сообщаемого. Через это, поэтическое, как такое, непременно сохраняет отношение к действительности, которое в поэтическом сознании возводится, как мы видели, в идеал. Но поскольку само это отношение сохраняется, поэтическая речь ближе к научной, чем к риторической, и не только формально,—поскольку поэтическая и логическая формы — самостоятельны, но аналогичны (поэтическая есть квази-логическая),—но и по существу, по направляющему отношению к реальному (ad rem) смысловому содержанию. Риторическая речь, поскольку она заинтересована во впечатлении, легко отходит от действительности, рассматривая ее только, как одну из возможностей, но не диалектического, а морального и психологического типа. Риторическое произведение свободно оперирует с такого рода возможностями, и из них выбирает, руководясь не идеей, не законом, не разумом или правдою, а лишь вероятным эмоциональным воздействием на слушателя, предполагаемою силою самой экспресии.

Поэтому также, риторика не согласится подчинить это воздействие и эстетическому урегулированию [1]). Критерий морали

[1]) Я не касаюсь пока возможности того сложного отношения внутри экспресивных форм, которое создает внутренние фигуральные формы и которое может быть источником, а след., и регулятором наслаждения, вызываемого риторическим произведением. Нетрудно убедиться, (1), что наличность такого осложнения характерна лишь для особого вида риторического искусства, наиболее распространенно представленного в наше время романом и родственными ему формами, и (2), что, под скорлупою этой осложненной экспресивности, и этот вид риторики в основном движется моральными тенденциями, допуская эстетическое руководство лишь в сфере экспресивной внешности, где само собою теряется логически-аргументативное значение пафоса.

остается для нее верховным, а это есть критерий здравого смысла и жизненного опыта, того рассудочного „познай себя", которое одинаково гибельно и для научно-философского познания, и для поэтического изображения. Поэтому, в расширительном смысле можно говорить о морали всюду, где только есть риторика, а в более узком и первоначальном—где объект изложения есть объект размышления, резонирования, медитации, познания в смысле „познай себя". Не имея своих особых внутренних форм, риторическое изложение есть изложение, в общем, в высшей степени свободное, и оно пользуется одинаково, как научными формами силогизма, демонстрации, напр., так и формами простого описания по заданному плану последовательности (временной, композиционной, итп.), или по готовой постоянной схеме (в роде хрии, напр.), или, наконец, в форме наводящих на размышление „примеров", парабол, притч и просто афоризмов. Изобилие „украшающих" словесных приемов делает риторическое изложение внешне похожим на речь поэтическую (предельно—роман), а принуждение к „размышлению" о житейском опыте, сердцеведение, — с претензией даже на в ы с ш е е познание, в упрек и посрамление научно-философской ограниченности,—на речь философскую, доводящую до сознания того, что также уже известно из опыта (предельно—мировоззрение). Однако, существенным остается различие руководящих идей самого творчества: и д е я строгой научности отличает научное и философское изложение, идея высокой художественности—изложение поэтическое. Одно противопоставление запечатлевается в дилеме: „Христос или истина", а другое—в репликах: „Сердца собратьев исправляй" и „В разврате каменейте смело". Чувственный тон строго научного изложения—интелектуальное наслаждение [1]), поэтического—эстетическое. Последнее фундируется внутренними поэтическими формами, о т р е ш а ю щ и м и, и тем самым создающими ч и с т о т у соответствующего наслаждения: „Служение муз не терпит суеты: Прекрасное должно быть величаво". Риторика воздействует п а т е т и ч е с к и, убеждает, но не отрешает свой предмет от действительности, а, напротив, вдвигает его в гущу житейского, суетного, злободневного. Научное, в своей идее, не

[1]) Возможность его не исключена и в риторическом изложении, но не оно регулирует основную для такого изложения патетику.

в меньшей мере, чем поэтическое, чуждается всякой патетики и эротики, всякого экстаза, невзирая на то, что, как указано, в своих наиболее величавых формах оно приводит к высшим состояниям вдохновения. Но не может быть ни величавым, ни вдохновенным, риторическое, не правдивое и не отрешенное, применение логических форм в целях патетики, вовлечение последней в состав логической аргументации, переплетение пафоса и аргументации, употребление одного вместо и в целях другого. Внутренние формы риторической речи остаются формами логическими, но это—логические формы, орошенные слезами, отравленные завистью и злобою, искаженные местью и ложью, или смягченные милосердием, овеянные трогательностью, проникнутые сердечным участием и благородством, и все-таки это—логические формы, а не новые специфические, рядом с логическими и поэтическими. Патетика может завлекать, очаровывать, обольщать, даже побуждать к подвигу или преступлению, и быть, таким образом, действеннее, чем философия, наука и поэзия, но, как форма речи, она все-таки несамостоятельна.

Имея в виду наличие внутренней поэтической формы, как существенного признака только поэтического языка, можно было бы воспользоваться этим критерием для разделения всей сферы „искусственной" речи на поэзию и прозу. Проза, следовательно, будь то научная или риторическая, довольствуется одною логическою внутреннею формою; в научной речи она заостряется до чистой терминированной, „технической", речи, в риторической она распускается до патологической экспресивности; то и другое, конечно, в тенденции,—промежуточные и переходные жанры, как всегда, преобладают.

Различение поэзии и прозы обыкновенно, без нужды, усложняется внесением в него генетических домыслов (что первее—проза или поэзия?) и самых примитивных эквивокаций. Несложная софистика, связывающаяся с противопоставлением поэзии и прозы, делающая их четкое различение как будто недостижимым, всем известна. Когда вопрос о различии ставится, то обыкновенно имеется в виду внешне воспринимаемое различие речи мерной и свободной. Внешне воспринимаемое при этом понимается, как форма, которой противостоит неопределенно широкое и нерасчлененное содержание, составляющее нечто „внутреннее" по отношению к этой всецело

„внешней" форме. Для так поставленного вопроса ясен путь его решения: поскольку в самом смысле вопроса предполагается, что внешне данное различие не достаточно, и за ним должно лежать некоторое внутреннее основание, необходимо анализировать названное „содержание" и в нем открыть это искомое основание. Но, вот, тут и протискивается маленький софизм. Вместо того, чтобы расчленить и анализировать „содержание", игнорируют неопределенность его состава и строения, приводят простенькие соображения, вроде того, что можно стихами написать и научный трактат, что стишками пользуются и для целей дидактических, мнемонических, итп., а с другой стороны, что свободною, немерною речью выражаются подчас произведения, обладающие неотъемлемыми поэтическими достоинствами. Таким образом, вопрошавший представляется наивным человеком, будто бы не подозревавшим ничего об этих банальностях. А софизм—в том, что этим ответом вопрос о различении отбрасывается назад к внешней форме, от которой он вновь вернется к содержанию, итд.—до полной безрезультатности. Новые попытки добиться все-таки результата через апеляцию к чувству, вызываемому поэтическим произведением, к эстетике, итп., не могут решить вопроса, потому что или они выходят за пределы самого противопоставления поэзии и прозы, и вносят посторонние для него критерии оценки, или, если предполагается, что соответствующие чувства вызываются факторами, заложенными в самом художественном произведении, мы возвращаемся к первоначальной позиции и к началу задачи: вскрыть предметные основы эмоциональной поэтической нагруженности. Но стоит, действительно, приняться опять за задачу с этого конца, как мы встретимся с прежнею наивною аргументацией, наивно обращенной к наивности вопрошающего: чувства одного и того же порядка могут вызываться, как прозою, так и поэзией. Наконец, когда, не столько вследствие анализа, сколько в результате некритического непосредственного усмотрения, провозглашается, что признаком поэзии является „образ", то, снова, не зная даже, что такое „образ", уже торопятся: „образы" бывают и в прозе... Ничего нет безнадежнее наивного педантизма такого типа „возражений"; они могут быть отстранены не тупым же нагромождением примеров, а осуществлением вышеуказанного *анализа*. Последний показывает, что „неопределенное содержание", от которого

нет ли, есть сложная структура форм, из коих каждая имеет себе соотносительное „содержание", и что среди этих форм, действительно, есть особые специфические формы, указанием на которые вопрос впервые реально ставится и раскрытием роли которых он единственно может быть решен.

Наивность перечисленных „соображений" проистекает из логической невоспитанности, из неумения различить двоякое применение терминов: de sensu composito и de sensu diviso. Поэтому, как для осуществления, так и для понимания смысла названного анализа, необходимо не упускать из виду двух его методологически-онтологических предпосылок. (1) Различение поэзии и прозы, как различение в сфере языка, в н у т р и этой сферы, не может быть противопоставлением двух внешне прилаживаемых друг к другу половинок. Это различение есть различение двух структурных целых в одном о б щ н о м им целом. Само собой разумеется, что отдельные элементы их могут и должны быть общими. Вопрос решается характеристикою целого, идея которого и есть верховный принцип движения внутренних форм, определяющий всю структуру в целом и каждый в ней член сообразно этому целому. Тогда, очевидно, и каждый „элемент" получает свой формальный смысл и формальное оправдание, как с точки зрения единства того члена, к которому он принадлежит, так и с точки зрения общего целого. Всё здесь— о т н о ш е н и я, и самые формы — также о т н о ш е н и я, — одинаково, как первичные определяющие формы („функции" слова), так и производные („дифференциальные"—до предела). Так поэтическая (тропированная) речь, со своими „производными" внутренними поэтическими формами (тропами) и со своим чувственным, эмоциональным бременем, противополагается речи прозаической с первичными внутренними логическими формами: речи, очищающей себя от всякой эмоциональной оснащенности, „точной" и терминированной, н а у ч н о й, и речи, заволакивающей себя всеми степенями и порядками эмотивности, п а т е т и ч е с к о й (фигуральной), р и т о р и ч е с к о й. Каждый из этих видов речи имеет свою внутреннюю закономерность, которою определяется не только диалектика целого, в движении его, как целого, но вместе и каждой части [1]). Вопрос же о том, куда отнести каждое в отдельности, в оторванности от общего, в отвлеченности,

[1]) Насколько труден такой подход к решению аналитических задач для современных, путающихся в абстракциях, привычек мышления, доста-

данное произведение или его часть, есть вопрос, с точки зрения анализа целого, как compositum, нерелевантный и подчас даже праздный и, во всяком случае, лежащий вне обсуждения принципов.

Что касается ученой наивности, теряющейся перед различением „прозы в стихах" от „поэзии в прозе", то, быть может, было бы целесообразно, не вдаваясь в дискусию, только напомнить об элементарной, но многообещающей для критического анализа, формуле Посидония, дошедшей до нас через Диогена Лаертского: „Стихотворение есть речь мерная, стройная, более устроенная, чем проза; поэзия есть значительное по смыслу стихотворение, содержащее воспроизведение божественного и человеческого" (или: „содержащее в себе мифы")[1].

Неотъемлемое достоинство этого определения — в его диалектическом приеме: проза—стихотворение—поэзия. Это определение, таким образом, или вернее, самый прием его построения, открывает возможность возвращения к началу, которое в опосредственном виде может дать теперь понятие „поэзии в прозе", и, следовательно, может удовлетворить также любителей гибридных образований.

(2) Второе условие успешности вышезаданного анализа — в признании той онтологической особенности слова, которая присуща и всякому культурному образованию, и которая передается такими „образами", как „микрокосм" и „макрокосм", или „монада", которая отражает (miroir vivant) и репрезентирует (représente) „универсум". Только при этой предпосылке приобретает свой смысл и оправдание тот, в высшей степени плодотворный, метод исследования, когда вместо анализа сложного и необъятного целого анализируется такой его „член", который, будучи подлинным „репрезентантом" целого, в своей конечной

точно илюстрируют такие книги, как напр., Jl. Hart, Revolution der Aesthetik als Einleitung zu einer Revolution der Wissenschaft, Brl, s a Автор, повидимому, готов видеть один из признаков „революции" в своем „открытии" двух языков (Bild- und Begriffssprache, B. I, S. 40—42).

[1]) Diog. Laert. VII, segm. 60: ποίημα δέ ἐστι (— —) λέξις ἔμμετρος ἢ εὐρυθμος μετασκευῆς (поправка Жиля Менажа: μετὰ κατασκευῆς), τὸ λογοειδὲς ἐκβεβηκυῖα. — — ποίησις δέ ἐστι σημαντικον ποίημα, μίμησιν περιέχον θείων καὶ ἀνθρωπείων (цитирую по амстердамскому изд. 1692 г., второй том которого содержит Aegidii Menagii observationes et emendationes; из его замечаний, кроме указанной поправки, интересно отметить по поводу „поэзии": Aliis, ποίησις dicitur, λόγος ἔμμετρος, μύθους περιέχων, ad segm. 60, p. 290).

малости, но в полной конкретной целостности, содержит все существенные и структурные мотивы бесконечно большого [1]). С этой точки зрения слово есть репрезентант не только „предложения", логического сомкнутого трактата, патетически распущенной речи оратора, замкнутого поэтического произведения, но и всех этих языковых структур, и всего языка в его идеальном целом, в его совокупной идее, как культурно-социального феномена. Житейская практика,—покупка ткани по „образчику", масла „на пробу", итд., — неизменно пользуется постулатом о равенстве части целому. Естественные науки, изучающие самое материю (в особенности химия) и энергию со стороны их качества, утверждают научные права этого постулата. Науки о живой природе применяют его не только к изучению вещно-масовых предметов и органических функций, но, модифицируя его в принцип гомологии, пользуются им даже в исследовании чисто морфологических образований и отношений. Повидимому, и для применения этого постулата к предметам культурно-социальным не требуется никаких иных условий, кроме признания и за ними качеств колективно-масовых предметов, по материи, и структурных гомологов — в сфере их формальных соотношений. Заслуга Гегеля—в перенесении соответствующих методологических приемов и в область высшего конкретного: философского („Феноменология духа").

Определение языка по его идеальной сущности, которое мы встретили у Гумбольта, дает возможность видеть в его формально-онтических свойствах, в особенности в его качестве „энергии", наличие всех условий, необходимых для приложения названного постулата. Больше того, Гумбольт сам нередко пользуется вытекающим из этого постулата указанным методологическим приемом, обращаясь к „примерам" не столько с целью отвлеченной индукции, сколько с целью конкретного анализа внутренних отношений языкового предмета. Равным образом, и в применении первой из вышеразличенных методологических предпосылок необходимо признать почин Гумбольта. Не из нагромождения примеров, некритически, без надежного критерия набросанных в кучу прозы и в кучу поэзии, хочет он найти различие двух сфер языкового явления, а из анализа их в их целом—макроскопическом и микроскопическом.

[1]) Этим приемом я воспользовался при анализе структуры слова во II Вып. „Эстетических фрагментов".

Рассматриваемые, как целое, поэзия и проза суть, прежде всего, пути развития самой интелектуальности (§ 20, S. 236). Если подходить к делу только с внешней стороны языка, то можно внутреннее прозаическое направление выразить в мерной речи, а поэтическое—в свободной, хотя поэтическая содержательность (Gehalt) как бы силою влечет к поэтической форме. В обеих формах мы преследуем особые цели и следуем определенным путям, но оба, поэтическое и прозаическое, настроения должны дополнить друг друга к некоторому общному, ведя человека глубоко к корням действительности, чтобы тем радостнее подняться ему в более свободную стихию (S. 237). И вот, если подойти к ним „с наиболее конкретной и идеальной стороны в них“ (S. 236), мы увидим, что их различные пути проложены к некоторой сходной цели. Поэзия компонирует (fasst auf) действительность в ее чувственном проявлении, как она внешне и внутренне ощущается нами, но ее не занимает вопрос о том, вследствие чего это есть действительность. Чувственное явление передается воображению, а последнее приводит к созерцанию художественного идеального целого. Проза, напротив, ищет в действительности именно корней, которыми она держится в бытии, и нитей, которыми она связуется с ними. Она связывает интелектуальным путем факт с фактом, понятие с понятием, и стремится к объективной связи в идее (S. 236).

Различение Гумбольта принципиально намечает проблему и указывает средства решения ее. „Интелектуальные пути“ — пути логики, внутренних логических форм или алгоритмов; пути „воображения“—художественно-поэтических. Но именно жестко определительная формулировка интелектуального пути может вызвать одно общее соображение: проза здесь как будто отожествляется с прозою научною, и при данном резком противопоставлении двух основных направлений или „путей“, куда же все-таки отнести пресловутую гибридизацию их—т. наз. художественную прозу? Невозможно, конечно, уклониться от ответа на этот вопрос, но, надо признать, Гумбольт тут не удержался на занятый им принципиальной позиции. Если он считает, что исход от действительности (beide bewegen sich von der Wirklichkeit aus) есть принципиальная характеристика обоих видов речи, и само разделение исчерпывает этот принцип, то диалектически остается только одно: противопо-

ставить действительности возможность, и спросить, не является ли возможность, в свою очередь, исходным пунктом для нового еще, особого вида словесного творчества? Вместо этого Гумбольт как будто санкционирует гибридную природу „художественной прозы", и определяет ее исключительно со стороны внешней. Проза, рассуждает он, не может ограничиться только изображением действительного с внешнею целью одного сообщения о вещах, без возбуждения каких-либо идей или ощущений. Тогда она не отличалась бы от „обыкновенной речи". Она идет также путями более высокими и располагает средствами глубже проникать в душу человека, возвышаясь до той „облагороженной речи", которая и является действительным спутником поэзии. Здесь работает не только отвлекающий рассудок, но все силы духа, и последний всегда здесь накладывает на речь отпечаток своего особого настроения: „языку сообщается нравственное настроение, и сквозь стиль просвечивает душа". Этой речи свойственна особая „логическая эвритмия", и лишь, когда поэт слишком ей отдается, он из поэзии делает „риторическую прозу" (S. 238).

Получается странный результат: избыток „благородства" превращает художественную прозу в риторику, а поэтическое благородство такой речи создается логической эвритмией... Но, в действительности, и это рассуждение—замечательно, ибо оно наводит на целый ряд свежих мыслей. Всё-таки Гумбольт отметил особенный вид речи, состоящей в том, что она не является только изображением действительного, хотя он и сузил здесь понятие действительного, в явном противоречии с тем его понятием, где он же говорил, что подлинная поэзия исходит от действительности. Затем, пусть „облагороженная речь"—смутный и в то же время банальный образ, но образ „избытка" ее—четкая характеристика патетизма риторической речи. Наконец, указание на „логическую эвритмию" разве нельзя истолковать в том смысле, что патетическая риторическая речь, исходящая от „возможного", как морально-вероятного и рассудочно-мыслимого, тем и характеризуется, что ее эмоциональная нагруженность ложится прямо на логические формы, не прибегая к посредству внутренних подлинно поэтических форм?

Однако, если и раскрытие в неопределенном у Гумбольта понятии „внутренней формы" слишком определенного логи-

ческого смысла может показаться односторонней интерпретацией, то тем более может быть принято за таковую введение в учение Гумбольта понятия внутренней поэтической формы. И все-таки мне представляется, что поскольку первое понятие надо признать как бы вылущенным из запутанной оболочки его собственных нетонко расчлененных и не доведенных до конца мыслей, надо признать, что и для второго в идеях Гумбольта можно найти, если не прямое основание, то скрытый повод.

Для оправдания этого заявления вернемся еще раз к тому утверждению Гумбольта, где различие языков ставится в зависимость от роли в них фантазии и чувства. Мы объединили выше (146) оба фактора в неопределенной „субъективности". Для уяснения мысли Гумбольта эта неопределенность—достаточна, но для углубления его мысли и для извлечения из нее возможно полной проблематики нужно тщательно всмотреться в содержание, объединяемое этою неопределенностью.

Рассуждая об устойчивости интелектуальной стороны в языке и приписывая ее „упорядоченной, прочной и ясной организации духа в эпоху образования языка" (§ 11, S. 105), Гумбольт противопоставил деятельности рассудка и понятиям фантазию и чувство, как силы, которыми создаются индивидуальные образования, отражающие, в свою очередь, „индивидуальный характер нации" (ib.). В сущности этим уже намечается возможность различения от индивидуальных форм каких-то других, но также внутренних форм. Впоследствии (§ 20) Гумбольт развивает свою мысль о характере языков в связи с характером народов. Здесь внутренний характер языка, как бы душа его, нечто в языке „более высокое и первоначальное", не столько познаваемое исследователем языка, сколько чуемое (das Ahnden) им, противопоставляется граматическому и лексическому строению языка—как бы характеру „прочному и внешнему" (S. 205). Внутренняя интелектуальная основа этого граматического постоянства есть сфера чистых логических форм,—как же понимать этот новый внутренний характер языка?

И здесь, как и раньше, Гумбольт держится высокого философского стиля и не столько отдается психологическим и псевдопсихологическим объяснениям, сколько анализирует то, что дано в языке, как целом, в его объективной и идеальной кон-

кретности. Он различает в нем самом как бы две установки: в эпоху формообразования—на самый язык больше, чем на то, что он должен обозначать, но когда орудие готово, язык им пользуется, и действительная цель занимает подобающее ей место (S. 203—4)[1]). И вот именно от того, как народный дух пользуется этим средством для своего выражения, язык и получает свой особый колорит и характер (Farbe und Charakter, S. 204). Внешние, постоянные формы языка можно было бы назвать его организмом (S. 205, 207). Организму языка противопоставляется его характер, отражающий характер индивидуальности в том способе (in der Art), каким она пользуется языком для его же целей. Индивидуальность предполагает и отдельное лицо, и пол, и возраст, и эпоху, и нацию, „объемлющую все оттенки человеческой природы" (S. 207). А указанная цель с наибольшей яркостью выражается в создании литературы, полностью отпечатлевающей в себе все виды индивидуальности, и возникающей, когда возникает желание извлечь из потока мимолетной беседы сложившиеся в народе песни, молитвенные формулы, изречения, сказания, с тем, чтобы их сохранить, как память и как образец для подражания (S. 206).

Итак, из этого уже видно, что, 1, „характер языка" относится к внутреннему содержанию (Gehalt) языка в широком смысле противоположения этого содержания чисто внешней форме, 2, по отношению к самому этому содержанию, как такому, характер языка определяется также, как своего рода форма, состоящая в „способе соединения мысли со звуком" (S. 212)[1]). В этих формах или „способах" отражается индивидуальность личности, эпохи, национальных особенностей (S. 215). И сами эти формы начинают быть некоторыми относительными постоянствами. Так, нация привыкает принимать общие значения слов

[1]) Следует ли и теперь, вслед за Гумбольтом, особо разъяснять то, что очевидно и само по себе, что указанные два момента не следуют по времени один в исключение другого, всегда бывает и то, и другое,...итд.

[1]) В сущности, эти слова повторяют общее определение „синтеза синтезов", но и этот термин имеет у Гумбольта двойственное значение. В § 12 речь идет о „соединении звуковой формы с внутренними законами языка"; здесь, в § 20, о соединениях, отражающих индивидуальности. Может быть и здесь играет свою роль кантианство Гумбольта; во всяком случае, оно позволяет и в первом применении термина говорить о „субъекте"—всеобщем или трансцендентальном.

одним и тем же индивидуальным способом (auf dieselbe individuelle Weise), сопровождать их сходными побочными идеями и ощущениями, вводя связи идей в одинаковых направлениях, пользуясь свободою словосочетания в одном и том же отношении (S. 212). Наиболее ясно это проявляется в литературе (S. 213), и в ней укрепляется, но и самые сырые языки являют те же особенности: в смелых метафорах, правильных, хотя неожиданных сопоставлениях понятий, в одушевлении силою фантазии лишенных жизни предметов, итп. (S. 212).

Если бы язык употреблялся исключительно для нужд повседневной жизни, в нем не было бы такого разнообразия, какое в нем имеется, в выражении внутреннего чувства, личного воззрения и просто душевного настроения, многоразлично повышающего действие и значение слова (S. 215, 216). „Кто приказывает срубить дерево, тот связывает с этим словом только мысль об данном стволе; совсем иное, когда это же слово, даже без всякого эпитета и добавления, появляется в описании природы или в стихотворении". Ни в понятиях, ни в самом языке, ничто не стоит обособленно, но связи только тогда действительно срастаются с понятиями, когда душа (das Gemüth) деятельна в своем внутреннем единстве, когда полная субъективность просвечивает сквозь совершенную объективность (217). Тогда не упускается ни одна сторона, с которой предмет может оказывать воздействие, и каждое такое воздействие оставляет свой след в языке. Где живо такое взаимодействие заключенного в определенные звуки языка и всё глубже проникающей внутренней композиции (die innere Auffassung), там дух неуклонно стремится внести в язык нечто новое и предоставить себя самого его обратному воздействию. А это предполагает, с одной стороны, чувство наличности чего-то, что непосредственно не содержится в языке, а восполняется духом под возбуждением языка, и, с другой стороны, стремление, в свою очередь, связывать со звуком все, что ощущает душа. То и другое проистекает из убеждения, что в существе человека чуется какая-то область, которая выходит за пределы языка, но что, в то же время, язык—единственное средство исследовать и оплодотворить и эту область, и что именно его техническое и чувственное совершенство дает возможность превращать и это смутное содержание в выразимое средствами языка. Здесь заложена основа для выра-

жения характера в языке, здесь мы проникаем во внутренний мир говорящего[1]) (217—218). И опять-таки это относится не только к интелектуально развитым нациям,—в проявлениях радости толпы дикарей можно уже различить простое удовлетворение желаний от внутренних глубин истинного человеческого ощущения, от небесной искры, предназначенной к тому, чтобы разгореться в пламя песни и поэзии (219). В развитых языках такое выражение характера нации становится только более диференцированным.

Лучший пример сказанному составляют греки, особенно в их лирической поэзии, соединявшей со словами пенье, музыку, танцы. Всё это вводилось не только затем, чтобы усилить чувственное впечатление, но все это выражало в своем единстве диалектологический и специфический характер—дорический, эолийский, ипр. Все это возбуждало и настраивало душу, чтобы удерживать мысль песни в определенном направлении, оживить и усилить ее душевным движением, от идеи отличным, ибо в противоположность музыке, слова и их идейное содержание занимают в поэзии и песне первое место, а сопровождающее их настроение и возбуждение следует за ними (221). Таким образом, то, что выше было обозначено, как нечто как бы выходящее за пределы языка, не есть нечто неопределенное. Скорее, его можно назвать самым, что ни на-есть, определенным (das Allerbestimmteste), ибо им завершается индивидуальность, чего не может сделать отъединенное слово, вследствие своей зависимости от объекта и вследствие предъявляемого к нему требования общезначимости. Исходящее из индивидуальности внутреннее чувство предъявляет требование и наивысшей индивидуализации объекта, достижимой лишь благодаря проникновению во все частности чувственного синтеза и благодаря высшей степени наглядности изображения (222).

---

[1]) Поскольку возможно такое изучение „внутреннего мира говорящего“ не только со стороны сообщения об его объективной направленности, и не только со стороны формальных отношений, но и со стороны субъективных душевных реакций эпохи, народа, ипр., постольку эта мысль Гумбольта должна лечь в методологическую основу подлинной этнической и колективной психологии. В этом направлении я определяю предмет и задачи этнической психологии (см. мое „Введение в этническую психологию“, Вып. I, 1927, Изд. Академии Художественных Наук), вводя понятие „со-значения“, как субъективного психологического обертона объективных сообщений, но отнюдь не как внутренней формы в смысле Марти.

Не останавливаясь дольше на развитии этих многозначительных мыслей, воспроизведем итог, к которому приходит сам Гумбольт (S. 229). В первоначальную эпоху образования языка, чтобы действительно построить его наглядным для сознания и понятным для восприятия, всё сосредоточивается как бы на создании его техники, напротив, влияние индивидуального настроения духа спокойнее и яснее проявляется из последующего пользования им. Различные способы связи предложений составляют важнейшую часть его техники. „Именно здесь раскрывается, во-первых, ясность и определенность логического упорядочения, которое одно дает надежную основу свободному полету мысли, устанавливая вместе с тем закономерность и объем интелектуальности, и, во-вторых, более или менее сквозящая потребность в чувственном богатстве и гармонии (Zusammenklang), душевное требование облечь и внешне в звук всё, что только внутренне воспринимается и ощущается" (§ 21, S. 229).

На основании всего этого можно представить себе общий путь языка в его внутреннем оформлении следующим образом. Первоначально язык преодолевает неопределенную и темную область неразвитого ощущения, и, таким образом, интелектуализирует всякое, проходящее через сознание, содержание (cf. S. 211). Чем точнее определяются и устанавливаются формы этой чистой интелектуализации, чем полнее они захватывают сообщаемое содержание, тем более обнаруживается, что его выражение несет на себе также следы участия в этой работе человеческого посредства. Индивид, нация, не только передают объективные отношения предметных содержаний, но вместе с тем отпечатлевают, в способах своей творческой передачи их, свое собственное отношение к ним. Особые формы этого отпечатления сами теперь становятся предметом внимания и заботы, подчиняют себе интелектуальные формы, как свое внутреннее содержание, и преобразующе господствуют над ним, отрешая логические формы от их первоначального определяющего отношения к объективному действительному содержанию. Об этом мы говорили выше с точки зрения структуры самого культурного сознания и места в нем фантазии. Мы глубже осветим роль внутренних поэтических форм, если, следуя Гумбольту, посмотрим на языковое творчество с точки зрения человеческого посредника, стоящего перед языком, как средством, но вместе и как

перед особым миром, водруженным внутреннею работою духа между человеком и предметом (S. 217), и отличным, как от того, так и от другого (S. 258). Язык, говорили мы также (стр. 41), посредствует не только между человеком и мыслимою им действительностью, но также между человеком и человеком. Это последнее отношение и должно быть теперь раскрыто точнее.

От человека к человеку в языке передается, во-первых, всё, что входит в состав объективного содержания интелектуальности, и, во-вторых, все богатство индивидуальности. Последняя проявляется с совершенною полнотою в поэзии. Первое для ее форм становится внутренним [1]) содержанием, но в собственных формах оно исчерпывается только, как интелектуальное и объективное, всякий же нарост субъективного должен быть еще подвергнут специальному оформлению. Его структура раскрывается, след., как структура самой субъективности. То, что относится к последней, то, что служит содержанием не только простого сообщения, но что еще воздействует на наше чувство, производит в широком смысле впечатление, как внешностью слова, так и отражающимся в ней не-интелектуальным содержанием, то, говорим мы, не может быть вмещено в чисто интелектуальные, логические формы. Не может быть вмещено, конечно, при том очевидном условии, что оно не делается прямым предметом сообщения. Ибо и оно ведь входит в состав действительности, образует в ней самостоятельный конкретный член, и, след., вмещается, как такой, в чисто интелектуальные формы сообщения. Такое прямое сообщение, подвергнутое обычному интелектуально-логическому оформлению, заняло бы свое место среди других объективных научных положений (психологии, итп.). Мы же говорим о тех формах речи, где к готовым логическим формам сообщения присоединяются индивидуально и субъективно заложенные впечатления, эмоции, итп. Это—сообщения, может быть, передающие и ту же действительность, но субъективным восприятием и переживанием окрашенную, и по тому одному уже индивидуально претворенную. „Преображенную“ и „претворенную“ значит не превращенную, как мы видели уже (147 сл.), в хаос мечтаний, сновидений и бреда, а значит: наново оформленную

[1]) В отличие от звукого „содержания“ речи, которое является чувственно („внешне“) данным.

по какому-то образу, образцу и идеалу. „Образец", „идеал", „идеализация", по отношению к действительности не указывают непременно на оценку, на возведение в степень нравственного или материально-качественного порядка. Это преобразование может быть преобразованием в сторону прекрасного, возвышенного, героического, но также комического, карикатурного, чудовищного, итд. Идеал и образец значат здесь только то, что законы и приемы, „способы" преобразования— не всецело субъективны, в смысле зависимости от капризно и случайно бегущих переживаний субъекта. Субъект может быть свободен в выборе того или иного направления, способа модификации изображаемой действительности, но изображением выбранного способа он связывает и способ изображения, построения поэтических форм, образования тропов. Он свободен, далее, в отборе для них словесного, и вообще изобразительного, материала в каждом индивидуальном случае, но этот последний уже подчинен закону целого и осуществляемой им идеи художественности. Действительность преображенная становится действительностью по своему бытию отрешенною, по содержанию она может быть индивидуальною и субъективною, но по форме, и в этом последнем случае, она всё же объектна. Если онтологические отношения действительности претерпевают здесь метаморфозу, то все же отношения изображаемого толкуются в нем в виде отношений как будто онтологических, квази-онтологических. Такое же, соответственно, квази-логическое значение имеют и поэтические, сообразные идеалу, тропированные формы.

Из этого одного сразу видна ошибочность того истолкования внутренних поэтических форм, которое хочет видеть их источник в так называемых законах творчества, понимаемых, как законы душевной деятельности творческого субъекта. Искусствоведы и в особенности литературоведы, как известно, даже злоупотребляют этою ошибкою. Теперь легко открыть ее источник. Общее рассуждение исходит здесь из двух предпосылок: 1, выделение субъективности, как фактора, в образовании поэтического слова, 2, признание закономерности в этом образовании. Обе предпосылки могут быть признаны верными, но надо верно их истолковать. Обычно закономерность ищут в самом субъекте, а так как последний,—индивидуально или колективно,—понимается, как психологический субъект, то приходят

к выводу, что психология должна решить все возникающие здесь вопросы: поэтика есть психология поэтического творчества. Психология, далее, есть естественная наука: поэзия, согласно такому заключению, должна быть *естественной функцией* человеческого психофизического организма. Такое заключение в корне противоречит тем предпосылкам Гумбольта, согласно которым поэзия есть функция языка, вернее, одно из направлений в его развитии, а язык есть *вещь социальная*.

И однако же, как факт, несомненно, что и поэтический и прозаический языки отражают физиологию (темперамент) и душевные особенности человека (характер, настроение, и пр.), а не только способы преобразования и отрешения действительности. Нет надобности оспаривать факт, но достаточно его собственного указания на то, что *не только* поэзия отражает названные особенности; проза, как мы убедились, также не только сообщает о них, но носит их нередко, как бремя, на своих сообщениях. Если источник всего этого лежит не в специфических особенностях поэзии, а в сфере субъективности вообще, то надо более точно определить его место в ней, а для этого необходимо вернуться к вышепроизведенному (151) *членению*. Необходимо разъединить in idea, взятые у Гумбольта в общие скобки субъективности, *фантазию* и *чувство*, глубже войти в положительное значение их в поэтическом творчестве, и сделать из произведенного разъединения нужные применения.

Как было сказано, анализ фантазирующего сознания раскрывает природу его, как акта *первично* предметного. Указания на его преобразующие и отрешающие потенции только подтверждают результаты анализа: на место *действительного* предмета становится *фантазируемый*, но всё же *предмет*. Поэтический язык, как продукт фантазии, точно так же становится „между нами и внешним миром“ и составляет особого рода *предмет*, как, по определению Гумбольта, язык в целом, служащий цели непосредственного общения. Скажем ли мы, далее, что акты фантазии суть акты однородные с актами представления или суждения (устанавливающими актами), или, что им присущи качества и тех и других, или, наконец, что они обладают свойствами, однородными представлению и суждению, но занимают свое особое место „между“ ними,—во всяком случае, мы утверждаем первичный объективный характер фан-

тазии. Различие, следовательно, между фантазией и названными интелектуальными актами, по качеству, есть, в первую очередь, различие бытия их объектов—действительного и воображаемого. Из этого понятно, как формы фантазии оказываются аналогами интелектуальных (логических) форм [1]). Мы говорим об аналогах, analogon rationis, а не о тожестве этих форм, только затем, чтобы избежать эквивокации при возникновении вопроса о соотносительной этим формам материи (смысле). Она—не тожественна. Содержание предмета действительного бытия в фантазирующем отрешении и преобразовании изменяется по модусу квази,—он не есть, но как бы есть, как если бы было, как будто. Отношения в этом содержании строятся по этому же модусу, и имеют свою закономерность, свою „логику" (онтологику). Если ты — будто бы паровоз или Чацкий, то в первом случае ты должен деловито пыхтеть, свистеть и тарахтеть, а во втором — резонировать и бездельничать. Через это онтологика материального содержания продуктов фантазии сохраняет отношение к действительности, и понятна, со стороны смысла, только, когда понятно соответствующее отношение. Оно представляется двояким. Как уже указано, фантазирующее, хотя и руководимое идеей художественности, возведение действительного в идеал,—аналогон философскому возведению в идею,—есть один способ построения названного отношения, способ поэтический, а, руководимое моралистическими тенденциями, фантазирующее прослеживание эмпирических возможностей в обстановке правдоподобного „случая",—аналогон рассудочному гностицизму,—есть второй способ, риторический.

И вот, если всё это — верно, то стоит ли вообще говорить о субъективности фантазии? Или надо точнее указать, что здесь следует разуметь под „субъективностью". В переносном смысле субъективностью называют всякое отражение субъекта вне его самого, но первоначально субъективность всегда есть свойство самого субъекта (materia in qua), а потому в анализе акта фантазии мы не можем сказать ничего об его субъективности, пока рассматриваем его со стороны его предметной

---

[1]) Ср., напр., невзирая на весь иррационализм Шелинга, его утверждение: „Phantasie also ist die intellektuelle Anschauung in der Kunst" (Ph. d. K., WW., V, 395.).

(materia circa quam) направленности или со стороны содержания (materia ex qua), почерпаемого из действительности, хотя бы и модифицированной [1]). Ни предметные, формально-онтологические, качества, ни объектное, смысловое, содержание не суть свойства субъекта. Чтобы найти место последнего, надо взглянуть на самый акт фантазии, как на свойство субъекта, т.-е. некоторого субстрата или „носителя" актов фантазии, как своих свойств. Кажется ясным, что фантазируемый предмет и его содержание не суть носители актов фантазии. Но о всяком ли предмете, точнее, о предмете всякой ли интенции, всякого подразумевания, имеем мы право повторить это заключение? Ведь мы должны были признать, что фантазируемый предмет есть предмет отрешенный, квази-предмет. Нельзя ли среди вещей действительного бытия все-таки найти такие предметы, которым мы могли бы приписать названое свойство, и, следовательно, необходимо мыслить их, как его обладателей и „носителей". Другими словами, мы должны будем признать, что, будучи предметами (m. circa quam), напр., восприятия, эти вещи сами также воспринимают, вспоминают, фантазируют. Такие объекты и называются субъектами [2]). Субъекты, следовательно, ничто иное, как те же объекты, их особый клас, со своими особыми качествами и свойствами:

[1]) Таким подходом к вопросу иногда злоупотребляют теории, автоматизирующее процес творческого воображения.

[2]) Для читателя должна быть ясна моя тенденция — избежать позиции субъективизма. Я отрицаю не только чистый философский субъективизм, по которому объективное определяется субъективным, но и вообще необходимую соотнесенность объекта и субъекта (объекты без субъектов прекрасно могут быть); равным образом, я ни в коем случае не отожествляю субъекта с так наз. „я" (из того, что познающее, мыслящее и пр. „я" есть субъект, не следует, что всякий субъект есть „я"); наконец, я не определяю субъекта, как „единство-сознания" (которое и есть единство сознания, а больше—ничего, тогда как действительный субъект включает в себя обширную сферу без и подсознательного) См. мою статью „Сознание и его собственник" (1916) в Юбилейном Сборнике проф. Г. И. Челпанову.—Что касается проводимого в тексте различения, то для ясности замечу нижеследующее. Если субъект есть действительный субъект, вещь, то можно говорить и о фантазируемом субъекте, которому также приписать способность и акты фантазии. Но такой субъект, вследствие этого, не возвращается из своей отрешенности в действительность; его „субъективность"—фиктивная, квази-субъективность, в действительности—она объектное творчество какого-то действительного воображающего субъекта.

кто среди что. Субъект должен иметь собственную онтологию [1]). Ее подлинная сфера — в сущей и становящейся действительности, где только имеет место реализация идеи, замысла, напр., реализация, осуществляемая „вещью“ (субъектом) естественного порядка и действия, но социальной значимости, и в „вещь“ (продукт труда и творчества) социально-культурного творческого значения. Сама по себе бездейственная идея претворяется в действенно-реальное и материально-очувствленное бытие. Она — бездейственна, а поэтому для ее осуществления и требуется помощь и посредство деятельного субъекта, реализатора, агента, в котором (in quo) она как бы пребывает, как материя (ex qua), виртуально, и который сам актуален лишь в реализации идеи [2]), становящейся вещью-объектом (circa quod). И только в этом последнем виде мы и изучаем реальные вещи, потому что только так их видим, воспринимаем, понимаем. В них же и через них мы узнаем и вещи,—не только объект, но и субъект, т.-е. sui generis, специфический объект; без этого воплощения в культурной реальности субъект лишен своих качеств sui generis и принимается, как простой объект природы, как задача естественно-научного изучения.

Что же дает нам понятие „объекта как субъекта“?—В искусстве, знании, языке, культуре, в осуществлении идеи вообще, он входит, как действительный вещный посредник между нею и природною вещью, но, в продуктах своей действенности, он воздвигает между собою и природою новый мир—социально-культурный, самим этим действием своим преобразуя и себя самого из вещи природной также в вещь социально-культурную. И таким образом, всякая социальная вещь может рассматриваться, как объективированная субъективность (но реализованная идея—в виде социально-культурной объективной данности, предмет „истории“), и вместе, как субъективированная объективность (социально-психологически насы-

[1]) Я считаю, что начало такой онтологии положено Авенариусом. С этой стороны учение Авенариуса, сколько мне известно, еще не разъяснено; поэтому-то и остается до сих пор непонятным и неоцененным всё его учение о „о зависимом жизненном ряде“. Фатальное следствие феноменалистического истолкования Авенариуса[1]

[2]) Но не в реализации себя, как утверждает метафизика персонализма, ибо он, как вещь, всецело, по предпосылке самой же этой метафизики, естественная (психологическая), действует и испытывает воздействие, как и всякая вещь природы, по ее причинным законам.

щенная данность, предмет „социальной психологии“) [1]). Акты фантазии данного субъекта, точно так же, как все другие творческие и трудовые акты, объективируясь в продуктах труда и творчества, в языке, поэзии, искусстве, становятся культурно-социальными актами. Мы имеем дело всякий раз не только с реализацией идеи, но также и с объективированием субъективного, а вместе, следовательно, и с субъективированием объективного — в каждом произведении поэзии, как и во всех других областях творчества. Таким образом, источник, из которого мы можем почерпать знание субъективности, как такой, заключается ни в чем ином, как в самом продукте творчества [2]). Нужно найти способы, которыми вскрывалась бы эта субъективность в точном и строгом смысле.

Выше мы говорили об отборе в образовании понятий, и в этом мы видели свободу научного творчества. То же самое теперь относится к образованию тропов („образов“) по законам и алгоритмам внутренних поэтических форм, как форм, поэтически передающих фантазируемое, отрешенное бытие. Поскольку в поэтическом произведении речь идет о применении этих законов, как об осуществлении руководящих творчеством идей поэтичности и художественности вообще, под эгидою которых преобразуется предмет в „идеал“, смысловое содержание в „сюжет“, действительное в отрешенное, постольку мы имеем дело

---

[1]) Ср. к первому—анализ процеса труда, а ко второму—понятие фетишизма товара, в I-ом томе „Капитала“ К. Маркса: (1) „В конце процеса труда получается результат, который в начале этого процеса существовал уже в представлении рабочего, существовал, так сказать, идеально. Человек не только изменяет формы вещества, данного природою; он воплощает также в этом веществе свою сознательную цель, которая, как закон, определяет его способ действия, и которой он должен подчинить свою волю“ (курсив мой)—(2) „Товар, с первого взгляда, кажется совершенно понятной, тривиальной вещью. Анализ его, однако, показывает, что эта вещь очень хитрая, полная метафизических тонкостей и теологических странностей.— — — стол остается деревом, обыкновенной чувственной вещью. Но как только он выступает в качестве товара, он тотчас превращается в чувственно-сверхчувственную вещь“.

[2]) Разница, которую можно усмотреть между продуктом труда, как предметом потребления, и духовным продуктом творчества, и которая состоит в том, что первый в потреблении истребляется, а второй от потребления возрастает в ценности,—интересная и не лишенная принципиального значения проблема.

с объективною культурою—и в содержании, и в форме [1]). Их субъективность может проистекать только из объективирующегося в них посредника, субъекта, и его социальной относительности,—из привнесимого им, из собственных субъективных запасов почерпаемого, материала переживаний, восприятий, воспоминаний, апперцепций, эмоциональных рефлексов, итп. Это и есть совокупность со-значений [2]), атмосферически окутывающих сферу называемых вещей, объективных значений, сообщаемых смыслов, мыслимых идей.

Если мы захотим обратиться к какому-нибудь эмпирическому факту, как его определяет естествознание, чтобы на его примере произвести принципиальную редукцию „случайного" и получить необходимую законосообразность, мы скоро убедимся, что в последней никакой субъект о себе не заявляет. И это—не потому, что такая редукция предполагает элиминацию индивидуального, а равным образом и не потому, что сама задача превращает „субъекта" в объект. Последнее нас не должно затруднять, ибо мы уже исходим из положения, что субъект есть своего рода объект. А что касается первого соображения, то ведь ничто не мешает установлению понятия о б щ е г о с у б ъ е к т а в виде „организма", „центральной нервной системы", „души", „энтелехии", итп. Действительная причина невоз-

[1]) Когда Гегель (Aesthetik, I, S. 96 ff) различает основные ф о р м ы искусства (Kunstformen),—символическую, классическую, романтическую,—он определяет их, как о т н о ш е н и е содержания, идеи, и внешнего облика (Gestalt). Если принять во внимание, что означенное содержание, в противоположность чувственному содержанию видимого „облика", есть содержание внутреннее (Gehalt), т.-е. внутренне же (идейно) уже оформленное, то ф о р м ы и с к у с с т в а Гегеля и суть наши внутренние поэтические формы, взятые применительно к цельным культурно-историческим образованиям, объективно существующим и данным. Вопрос о субъекте, в нашем смысле, для Гегеля также есть особый вопрос—„т р е т ь я сторона идеала". Насколько и здесь Гегель выше, овладевшего после него философским духом, психологизма, можно видеть из следующего заявления по поводу этой „третьей стороны": „Однако, нам нужно собственно об этой стороне упомянуть только затем, чтобы сказать об ней, что она должна быть выключена из круга философского рассмотрения,— — —" (ib. S. 352). — Само собою разумеется, что этими ссылками я нисколько не утверждаю правильности самого разделения названных форм, как оно произведено Гегелем, равно и его решения вопроса о субъекте-художнике; в обоих случаях я отмечаю лишь принципиальную правильность в постановке проблем.

[2]) Ср. мое Введение в этническую психологию.

можности найти в принципиальной редукции за актами фантазии, мышления, итд., в их раздельности или в их совокупности, что-либо их объединяющее, кроме самого формального единства сознания или переживаний, заключается в том, что, приступая к названной редукции, мы совершаем ее под некоторого рода условием. Таким условием является уже готовая элиминация самого субъекта. Этим-то и определяется, что всякое естественно-научное, включая сюда и обще-психологическое, исследование, с самого начала, необходимо абстрактно, а потому, в итоге, оно так беспомощно, когда его наивно привлекают для разрешения вопросов художественного и иного творчества [1]). Но почему же, если естествознание все-таки так или иначе имеет дело с субъектом, как со своим объектом, почему оно не может решить вопрос нас интересующий и не должно даже браться за его решение? Ответ дан в предыдущем: естествознание не знает и не допускает никакого посредника в вышеприведенном смысле. Другими словами, естествознание, как такое, ничего не знает о реализации идей, оно знает лишь действенную действительность, и подлинною метафизикою в нем оказалось бы одинаково — сообщение идеям действенной причинной силы (натуралистическая метафизика) и истолкование действительных вещей, как осуществленных идей (метафизика символическая). Только в своей последней конкретной полноте, в факте культурно-социального посредничества реализации, субъект занимает место, которое ни при каких условиях не может быть у него отнято.

В самом деле, мы рассуждаем, примерно, нижеследующим образом. Мышление и вся языковая деятельность в конкретной эмпирии, несомненно, подчинены естественной закономерности. Но их законы, устанавливаемые в порядке эмпирического обобщения, представляют абстрактные законы, отвлеченные от

[1]) Метафизика тем и держится, тем и привлекательна для многих, что ставит своею целью внести соответственную поправку—на конкретность—в естествознание; и обратно, естествознание приобретает видимость конкретности—через метафизику в нем. Но метафизика до тех пор только и жива, и сильна, пока ее допускает в себе естествознание, не пекущееся о строгости своего метода и о соблюдении границ его применения. Лишь выполнение этих условий и, следовательно, изгнание метафизики из естествознания знаменует ее гражданскую смерть: научное бесправие. Бесправная, она лишена и права опеки над субъектом; со своим субъектом вместе она переходит на попечение риторики.

всего индивидуального и единичного. Таким образом, оказывается отстраненною вся та, сопровождающая живое мышление, игра индивидуальных, и в своей индивидуальности неповторяющихся, восприятий, представлений, ассоциаций, образов фантазии, итд., которая относится к заполняющему формы *содержанию*, не представляя, однако, существенного состава этого содержания. Точно также, как считается несущественным для внешних форм, руководимых артикуляционным чувством, чувственный состав звукового содержания, когда устанавливаются отвлеченные законы этих форм. Перенесем, однако, внимание в сферу этого „несущественного“, — предполагается, несущественного для конституции предмета,—и потому допускающего свободное комбинирование его по квази-онтологическим законами и формам. Это фантазирующее комбинирование отрешает данное содержание от подчинения законам сущей предметности и открывает, таким образом, возможность нового свободного формирования содержания, имеющего *свои* повторения, не мыслительно-логического и познавательного типа, и свои особые формы („идеалы“), которые могут определяться не по цели познания действительности и пользования ею, а по художественному и поэтическому замыслу („идее“), в удовлетворение самих творческих потенций.

В эмпирическом изучении именно этим потенциям, их силе, качеству, индивидиальным особенностям, и свободе творчества приписывается *субъективное* значение. Но в чем же здесь сказывается субъективность? Говорят иногда, в том, что самый закон построения и комбинирования есть закон субъекта. Его творчество есть его *естественная* функция, в создаваемое он целиком вкладывает *себя*, отображается в нем, вкладывает *свою душу*, итп. В итоге, как мы видели, самоё внутреннюю форму готовы истолковать, как определение субъектом через себя, через свое „я“, и как наполнение им собою же, формы художественного произведения. Насколько верно, что творчество есть естественная функция, хотя и социальной значимости, настолько же не верно, что формы сочетания данного материала суть формы самого субъекта. Напротив, формы — непременно объектны, как объектен и объективен материал их, на который, как на объект, и направляется творчество. Субъективно может быть только некоторое, привносимое субъектом от себя, его отношение к чему-нибудь, да и то обусловленное по составу содер-

жания, опыту, апперцепции, интенсивности, времени, итп. объективным природными и историческими причинами. Оно — субъективно лишь в своем источнике, но раз данное, оно становится объектом, формы которого также всецело о б ъ е к т н ы. Предметно это — формы социологические и психо-онтологические, логически — „законы“ социологии и психологии. Но что сделают со всеми абстрактно-психологическими „законами“ асоциаций, контрастов, и прочими абстрактным обобщениями, те, перед кем стоят проблемы Шекспира, Гомера, Данте, итд.? Внутренние поэтические формы, „тропы“, суть алгоритмы, а вовсе не душевное или мозговое трепетанье субъекта; они—своего рода с и н т е т и ч е с к и е установления и аналоги логических форм и законов. Они — квази-понятия, квази-положения, ипр.,— только по своему м а т е р и а л ь н о м у и реальному отношению к действительно сущему. П о ф о р м е же они—подлинные объективные понятия и положения. „Воздушный океан“ по форме такое же понятие, как и „атмосфера“, а „атмосфера“ (atmos + sphaira)—такой же троп, как „воздушный океан“. Особые, новые поэтические формы образуются только из взаимного отношения этих с л о в, и последних — к действительности [1]). В познавательных, логических целях это отношение к действительности — прямое и непосредственное, в фантазируемых, художественно-поэтических целях — опосредствованное одним с л о в о м через другое. В э т о м о т н о ш е н и и — вся суть, но сколько это отношения есть отношение о б ъ е к т о в, оно по форме—объективно. Факт о т р е ш е н и я сам собою создает нужное здесь о т н о ш е н и е, в самом приеме отрешения и алгоритма, по которому устанавливается отношение — в н у т р е н н е е не для субъекта, а для соотносимых объектных терминов.

Но поэтические „положения“ мы знаем не только, как о б ъ е к т и в н ы е с о о б щ е н и я, запечатлевающие то или иное объективное о б с т о я т е л ь с т в о (Sachverhalt), но и как средство выражения известного в п е ч а т л е н и я, заражения им и возбуждения его. Но, конечно, воздействие и впечатление идут не от положения, как такого, в е г о ф о р м е п о л о ж е н и я. Они исходят или из его смысла (содержания), или от некоторых при-

---

[1]) Ср. S. A u g u s t i n i De doctrina christ., II, 10: „Translata (signa) sunt, cum et ipse res, quas propriis verbis significamus, ad aliud aliquid significandum usurpantur, — — —“.

входящих еще условий. Поэтическое „положение", как такое, запечатлевает свое „обстоятельство", во всяком случае, как объективное, даже когда оно „сообщает" о собственном душевном состоянии творческого субъекта. Но то, что называется изображением в художественном произведении и что заключает в себе больше, чем простое положение, — потому что именно оно вызывает впечатление и оказывает воздействие, — привносит с собою какую-то прибавку к логическим формам. В чем же она? — То же эмпирическое рассмотрение иногда обращается к аргументации, не лишенной в общем убедительности. Установление предмета и положения в художественном произведении совершается, говорят, не в восприятии его, что́ всегда заключает в себе момент признания вещной объективности, а в чистом созерцании. Созерцание художника, далее говорят, по самой своей потенции, художественно и свободно составляется фантазией из элементов сущей действительности. Стоит перейти к „проверке" действительности этих элементов, и созерцание возвращается к восприятию. Между чистым фантазирующим созерцанием и вещным восприятием открывается обширное поприще для выбора художником таких сочетаний, которые в наибольшей степени отражают его самого и полноту его желания оказать воздействие или вызвать впечатление и этим проявить себя, как субъекта.

Это рассуждение не безупречно, поскольку оно пользуется термином „созерцание" без должной его критики и интерпретации. Созерцание есть акт, по смыслу своему, только констатирующий данность, а потому в отношении объективности вещи — нейтральный. Созерцание — нейтрально, это значит, что оно имеет место до признания объективности, следовательно, и до обнаружения субъективности, — (при отрицании их корелляции — хотя бы потому, что субъект ведь также есть объект), — и нельзя толковать эту нейтральность созерцания, как состояние какой-то самопогруженности, ухода субъекта в себя самого, так что и всё созерцаемое представляется, как чистая субъективность. Как сказано, созерцание стоит перед чистою данностью — до сознания ее, как данности воспринимаемой, фиктивной, галюцинаторной или еще какой. Но допустим, что можно принять и иное понимание созерцания, в особенности созерцания уже квалифицированного, как фантазирующее, и отнести его к субъекту, именно потому и не знающему об объекте, что последний —

всецело в недрах самого субъекта, или, наоборот, потому, что субъект всецело растворился в нем. Допустим, что такое толкование может иметь за собою достаточное принципиальное основание, но что же оно дает нам, когда нас интересует не генезис художественного образа, а его состав и структура? Последние даются нам в готовом продукте художественного творчества, анализ которого показывает, что то, что относится к фантазирующему созерцанию, заключается в поэтическом „положении", как его содержание, как сообщаемое. Оно остается объективным — безразлично, относится ли оно к вещам природы, к переживанию поэта или другого какого-либо лица, действительного и вымышленного[1]). Если это содержание производит впечатление, то через себя, собою, объективно. Свобода выбора воздействующих моментов в поэтическом положении-изображении сказывается в соответствующем подборе словесного материала. Вводится более или менее богатый, живой, свежий, напр., словесный материал на место привычного, ставшего прагматическим, но в известных отношениях к последнему, каковые отношения — внутренние формы — своим характером и особенностями производят свое воздействие. Последнее, в отличие от воздействия содержания, оказывается по преимуществу художественным и в некоторых случаях эстетическим, но оно остается воздействием *от объекта*, и в этом смысле — объективно. Диалектика поэтического смысла с точки зрения логики науки может казаться квази-логическою, она — фантазирующая и поэтическая, но в основе ее — та же чистая объективная семасиологическая диалектика, что и в научной речи; точно так же, как поэтический синтаксис со всеми своими отступлениями от условной средней — закономерен и подчинен идеально устойчивым формам управления.

Можно было бы варьировать и усложнять эмпирическое, в частности психологическое, рассмотрение поэтического продукта, оно именно *субъекта-то* и не может вскрыть, ибо естественно-научное изучение принципиально не знает субъекта, как субъекта, а знает только объект. Поэтика, как учение о внешних и внутренних формах поэтического слова, не может быть построена на психологии, как науке о субъекте, поскольку объектом такой поэтики является в культуре реализованная

---

[1]) Ср. примечание выше, стр. 177.

идея. Но она не может быть построена и на психологическом изучении субъекта, как объекта естествознания, поскольку последнее отвлекается от субъекта, как субъекта. Конкретное их единство восстанавливается, когда мы рассматриваем поэтический продукт, как объективированного субъекта, и последнего берем не в отвлеченном естественно-научном аспекте, а в его живой роли посредника, через которого идея достигает своей реализации. В этом аспекте поэтическое произведение есть культурно-социальный факт, а субъект, поэт, культурно-социальный субъект — не голая биологическая особь или психофизический индивид, а социальный феномен, фокус сосредоточения социально-культурных влияний, конденсатор социальной и культурной энергии, Гомер, Данте, Шекспир, Пушкин. При таком аспекте и психология, во всех ее видах, которые все, однако, тогда становятся видами социальной психологии, оказывается не без пользы. Она рассматривает субъекта не в натуралистическом отвлечении, а в его социальной роли объективирования себя, как социального субъекта, и субъективирования сообщаемого им объективного содержания в объективных логических и поэтических словесных формах, а равно и субъективирования присущей им объективной силы воздействия.

При таком перенесении проблемы из сферы отвлеченно-естественного в сферу социально-культурного исследования, все акции и реакции субъекта рассматриваются уже не как естественные рефлексы объекта в естественной среде и на естественного раздражителя, а как культурно-социальные акты его переживаний, отпечатлевающихся на продуктах его труда и творчества, объективирующихся в них. Мы исследуем теперь субъекта не как объект вообще,— объект — сам продукт творчества, например, поэтическое произведение,— а как субъекта, опосредствовавшего этот продукт. Ни при каких условиях он не может быть элиминирован. Он — объект, но совершенно специфический, если угодно, со-объект. Попробуем, не упуская его из виду, произвести над ним принципиальную редукцию с целью получения чистого, не эмпирического предмета исследования. Каждый его акт есть, во-первых, его акт,— а не просто интенция в единстве сознания,— и, во-вторых, каждый такой акт, в установке на субъекта (in qua), мы видим, как акт, объективирующий субъекта в процесе реализации объективной идеи, и можем легко убедиться, что всё (социаль-

ное) содержание субъекта исчерпывается совокупностью его объективаций. Пока мы понимаем последние в смысле отвлеченного естествознания, как причинные эфекты, или как рефлексы, реакции, спонтанные психические процесы, итп., мы не подвигаемся вперед, а лишь возвращаемся к рассмотренному методу изучения.

Свойственные эмпирическому естествознанию отвлеченные навыки мысли выдвигают здесь, в чисто отвлеченном же порядке, соображение, внешне как-будто привлекательное. Именно, естествознание, трактующее субъекта, как организм или психобиологический индивид, изучает его в виде более полном и богатом, так как оно имеет в виду не только актуализованные действия его, но всю совокупность его потенциальных сил. В особенности это относится к психологии с ее учением о характере, темпераменте, способностях, задатках, сублиминальной сфере, итд. Можно было бы в той же отвлеченной плоскости развивать аргументацию и контраргументацию ad libitum, но вполне безрезультатно. Чтобы обсуждение вопроса, действительно, было плодотворно, не надо терять из виду конкретного возникновения и постановки его. Нас интересует исключительно конкретное поэтическое слово, данное как культурно-социальная вещь. В ней мы открываем наличность субъективных моментов, и об этом субъекте, объективированном в этой вещи, и лишь через это нам и данном, речь только и идет. Предлагить вывести эту конкретную субъективность из безличных потенций биологической и психофизической особи, значит, вернуться к рассудочному мнимогеометрическому методу выведения модусов действительности из гипотетически постулируемой субстанции. Возвращаться сюда, после Гегелевой критики всякой рассудочной дедукции и схематизма, можно лишь при неодолимой философской наивности. То самое complementum, на котором сокрушился рассудочный рационализм, для нас стало камнем, который соделался главою угла.

Ограничивая определение субъекта, сообразно указанной цели, его социальною актуальностью, мы безмерно расширяем и обогащаем содержание его. Там, где естествознание в своих обобщениях отбрасывает случайное и единичное, как мы видели (181—2), анализ поэтического произведения как-раз выдвигает вопрос: нет ли в этом отбрасываемом своего единства

и своей закономерности? В правильно проведенной редукции, имеющей в виду самого субъекта, как такого, индивидуальное необходимо окажется и существенным. Таким образом, формальному обогащению в направлении голой потенциальности мы противопоставляем действительное материальное обогащение, заключающееся в полноте социальной связи и культурного выражения конкретного субъекта. К поразительным чертам этой связи,—в отличие от отвлеченного механического и химического взаимодействия среды и особи,—относится, прежде всего, то, что конкретный социальный субъект существует и остается таковым лишь при условии признания его, как социального субъекта, со стороны других, признаваемых им субъектов, и пока длится это признание [1]). Здесь-то и сказывается глубокий смысл выделенья в онтологическом порядке субъектов, как sui generis объектов, из общего состава объектов действительного бытия: следует тщательно наблюдать соотношение объектов, как таких, и соотношение субъектов, как таких, ибо в то время, как субъекты в отношении к другим объектам остаются только объектами, субъекты в отношении друг друга остаются также и субъектами, независимо от того, испытывают они воздействие или производят его сами.

Что касается полноты и богатства выражения, то их обоснование вытекает непосредственно из определения социальной вещи, как осмысленного знака, и, в то же время, как средства (орудия труда и творчества). На этом факте, который ясен сам по себе, останавливаться не стоит, но нельзя не отметить одной особенности, также поразительной и чреватой радикальными выводами применительно к самим принципам науки. Лишь только мы признали самого субъекта, и, следовательно, всё его субъективное, за категорию социальную, само естествознание, в своем значении для нас, претерпевает как бы метаморфозу: чисто чувственное превращается, на его глазах, в „чувственно-сверхчувственное“, и мы заставляем естествознание служить нам совсем по новому. Биологическое и психофизическое — сами приобретают социальный

---

[1]) См. названную мою статью „Сознание и его собственник“. У Папини есть жуткий рассказ, иллюстрирующий эту тему в психологическом аспекте.

смысл, и притом величайший социальный смысл. Все акты биологической особи, известные под абстрактными названиями рефлексов, реакций, импульсивных движений, оказываются социально значимыми, как акты социального подражания, симпатии, интонации, жестикуляции, мимики, итд. Они оказываются не только действующими, и не только объективирующими, но при известных условиях, и реализующими (напр., индивид, как репрезентант колектива и его идеи). Психофизический апарат превращается в социально-культурный знак. Два конца одной цепи: действительности-реальности, соединились. Переход от индивида к „групе", „колективу" — не новое звено в цепи, а непреложная предпосылка самого единства ее. Индивид вышел из одиночного заключения в своей черепной камере и стал свободным сочленом в трудовом и творческом общении.

Итак, мы хотим сделать предметом принципиального анализа самого субъекта, как *своего рода* объект, и при том, как „социальную вещь", но не в качестве только *средства*, а и в качестве также *знака*, как *такого* и носителя знаков. Мы можем спрашивать, как мы „приходим" к такому *предмету*, как он нам дан, какие свойства онтологически существенны для него,—при всяком таком вопросе, в целях ли формального онтологического определения, в целях феноменологического описания, или в целях смыслового анализа и интерпретации, мы не можем уже упустить из виду самого *субъекта*, какие бы нами ни производились редукции его случайной, временной и местной, данности, обстановки и связей. Если среди существенных признаков субъекта мы теперь устанавливаем сознание, сублиминальные потенции, творческие способности, итп., мы только тогда решаем проблему самого субъекта, а не безличного „единства сознания", когда мы снабжаем соответствующее описание неизъемлимым индексом *принадлежности* данной способности, состояния, акта *ему* именно. Все его акты суть *его* акты, и *для него*, как лица, безличных актов не существует. По одному тому уже, что он есть „вещь" действительного мира и бытия, эти акты также действительны, а поскольку эта действительность отличается действенностью, они также, — в отличие от „актов" чистого (не личного) сознания, — действенны, и входят в общую связь действительной причинности. Сознание субъекта, как и он сам, есть *часть* действительного бытия.

Мы тотчас потеряем с трудом приобретенную почву под ногами, если вновь поддадимся соблазну объяснять эту связь чисто натуралистически, вернемся от субъекта к „особи“. Надо найти специфические признаки связи, не упуская из виду социальной самости субъекта. Различение сознательных актов субъекта по их качеству, материи, итп.,—каковым различением может воспользоваться, напр., психология, опираясь на соответствующие феноменологические различения,—природы самого субъекта нимало не раскрывает. Важно теперь, чтобы эти акты были актами его самого, его принадлежностями, признаками и знаками, чтобы в них сказывался он сам, однако, не как причина—в действии, или субстанция—в проявлении, а только как сам субъект в своей объективации. Критерием и гарантией соблюдения именно такой научной позиции может и должно служить то, что вообще дает нам возможность выделить субъекта, как социальную вещь. Субъект есть вещь, и всякий его акт—вещен (reel); он не есть осуществляемая идея[1]), и никакой акт его не реализуется (real); если мы приходим к нему, как к данности, через „симпатию“, „подражание“, „симпатическое понимание“, „вчувствование“, или, как еще, но не через „восприятие“, как приходим к вещи действительного мира („природы“), и не через „понимание“, как приходим к идее (смыслу), то и к каждому его акту мы приходим тем же путем, а не „природным“ или „идеальным“; если, наконец, для социального бытия субъекта существенно „признание“ его со стороны других субъектов, то то же самое относится и к бытию каждого его акта; итд., итд.

Психология и физиология, как естественные дисциплины, характеризуют акты психофизической особи еще, как акты, обладающие интенсивностью (силою), скоростью, повторяющимися формами координированного и субординированного сочетания, и они готовы в этих характеристиках найти основу для формального определения индивидуальных актов. Смысл вышеуказанной метаморфозы природно данного в социально значимое—в том, что всеми этими определениями мы теперь можем воспользоваться, но при непременном условии:

---

[1]) Когда мы смотрим на субъекта, как на реализованную идею, мы уже не видим субъекта, как такого, а видим только объективный осмысленный знак, совершенно аналогичный объективно сообщающему слову.

возвращения в них того, что отнимает первоначальная естественно-научная абстрагирующая предпосылка, т.-е. возвращения в них элиминируемого ею социального субъекта. Психология, комбинируя свои отвлеченно определяемые элементы в такие характеристики „души“ или „человека“, „особи“, как „умный“ „злой“ „трус“, „раздражительный“, „влюбчивый“, „настойчивый“, „сухой“, „ревнивый“, „мрачный“, „веселый“, возводит таким образом в характеристику особи преобладающие в ней отдельные состояния и акты, а также специфические совокупности и кореляции их, предполагая за их постоянством некоторого рода „потенции“, „способности“, „задатки“. Это-то предположение и делает их понятия в психологии отвлеченными и формальными: она рассуждает о „трусости“, „мрачности“, „ревности“, итд., в их безотносительной несамостоятельности. Стоит только мыслить соответствующие состояния, как признаки, и в составе конкретно данных объективаций конкретно называемых субъектов: индивидуальных, Пушкин, Данте, Моцарт, или колективных, человек эпохи Возрождения, китаец, буржуа, романтик, итд., и они— не отвлеченные и формальные причины или действия, а конкретные выражения. Самость субъектов здесь, данных в конкретном имени, закрепляемых именем и признаваемых в имени и по имени, не скользкий и ускользающий термин безличия: „я“, „самосознание“, и под., а вещь, социальная вещь. Конкретность ее—в том, что „я“ здесь всегда некоторый имрек, не местоимение, а само имя субъекта, и „самосознание“—не просто сознание себя, как сущего, а себя, как такого, а не иного, и при том вместе с признанием того же со стороны других и с сознанием этого признания.

Если итти не от социальной объективации субъекта к естественно-научной отвлеченности, а обратно: подняться от последней к конкретно переживаемому, то можно сказать, что естественное действие особи приобретает социальную значимость с момента, когда оно признается, принимается и рассматривается, как ее субъективное выражение. Тогда перед нами—не автоматические „реакции“, „импульсы“, „рефлексы“, ипр., а полные значения и жизни „жесты“, „мимика“, „интонация“, ипр.—то, что объемлется термином „экспресия“. Именно здесь-то и сосредоточивается искомое нами субъективное, здесь—подлинная сфера субъективности,

здесь—все то, что дано, как субъективное в творчестве, труде, искусстве, науке, поведении, напр. Субъективное в слове, начиная с интонации данной фразы, через общую манеру излагать свои „сообщения", вплоть до самых устойчивых форм словесного приема, школы, стиля, всегда запечатлевается в виде экспресивности самого же слова. Обратно, экспресия всегда субъективна, характерна и лична—от самого малого мимолетного и до самого устойчивого, от каприза или взволнованности момента до постоянства не только лица и ближайшей его среды, но и эпохи, народа, культуры (напр., когда говорим о культуре „восточной" и „европейской"). Одно только надо помнить и соблюдать, как основной методологический принцип: субъективное в слове, как его экспресия, не есть смысл слова и не есть какая-либо конститутивная форма этого смысла, а лишь характер и признак, присущие внешним, чувственно данным формам слова, и указывающие на особое, не объективно смысловое, содержание слова. Это содержание есть объективированная субъективность, которая не улавливается пониманием сообщаемого, не мыслится в слове, а лишь чувствуется, как присутствие и характеристика субъекта. Нужны другие особые высказывания и сообщения, чтобы перевести это содержание в понимаемые, мыслимые слова, термины и „образы", словом, чтобы это содержание сделалось также объективным смысловым содержанием, научным, поэтическим или риторическим.

Если теперь обратимся к тому, что было сказано выше об отборе элементов содержания в образовании понятий и тропов, мы вспомним, что кажущаяся свобода и субъективность такого отбора были в действительности прочно связаны предметом или квази-предметом, о котором нужно было сообщить научное сведение или по поводу которого нужно было вызвать поэтическое впечатление. Но если мы всё же говорим здесь хотя бы о кажущейся свободе и субъективности, то в чем их подлинный источник? Конечно, не в воображаемом предмете, как он передается в понятиях и тропах, и не в объективных актах мышления, фантазии, представления, а лишь в фундированных на них „вещных" актах субъекта, экспресивно объективируемых. Формальный алгоритм понятия или тропа может не всегда с достаточною прозрачностью обнаружить свое конечное разумное оправдание, но зато он теряет свою рассудочную сухость, когда он оживляется пристрастием субъекта, прежде всего, к предмету и сообщаемому или изображаемому объективному содержанию, а затем также и к избранной форме, к изобретенному им методу, или таким же пристрастием (иронией, презрением, итп.) к отвергаемым и заподозренным приемам и содержанию логической мысли или поэтического творчества. В читаемой по тетрадке лекции професора субъективны не формы изложения, не смысл излагаемого и не т. наз. предметно-интенциональные акты его переживаний, а сопровождающая их его скука, утомленность, итп., как в пламенной импровизации демагога все его самообманы и обманы субъективны только в сопровождающей их убедительности, а не в формах связывания сообщаемого. Убедительность и убеждение—никогда не адекватны точности термина или изобразительности тропа, но они адекватны силе и характеру экспресивности слова. Равным образом, чувство точности,

научности или изобразительности, стильности, инр., должно отличать от объективных форм и законов логических понятий и поэтических тропов.

Здесь необходимо глубже войти в эту, хотя не трудную, но несколько запутанную область объектно-субъектных предметных взаимоотношений. — В итоге изложенного может показаться, что, невзирая на сделанную выше (188) декларацию, мы всё же обеднили понятие субъективности и лишили проблему субъекта того богатства, которое вкладывается в нее натуралистическим определением. Нам могут сказать, что и в сфере предметных актов, как устанавливающих, так и представляющих, можно констатировать субъективность, и при том в вышеопределенном смысле *содержания*, исходящего от самого субъекта, как такого. Правда, предметное содержание, как такое, остается от субъекта независимым, но зато *состав* его, прошедший через сознание субъекта, через *его* „голову" и „руки", им отобранный, ставший *его* достоянием, густо окрашен в цвет субъективности. Здесь также можно видеть подлинную объективацию субъекта и даже, его и от него исходящие, границы, т.-е. некоторые формы. Может быть он объективировался в том или ином случае не полностью, но наверное можно сказать, что в *составе* данного содержания не может быть больше того, что потенциально,—сознательно или субсознательно,—содержится в самом субъекте. Это содержание по составу есть простой запас представлений, теорий, положений, предпосылок и предрассудков, и он—иной у пастуха и астронома, буржуа и аристократа, китайца и афинянина, Писарева и Достоевского,—в такой же мере, как иные у них *личные отношения* к вещам и идеям. И далее, поскольку мы здесь говорим о степенях, границах, мере, итп., этого содержания, мы тем самым допускаем для него особые субъективные формирования и формы. При этом не трудно доказать, что такие формы обусловливаются не только психологическими, антропологическими и расово-биологическими причинами, но, как того требует определение, и чисто социальными. Так наз. *техника* в труде и творчестве, как степень уменья, сноровки, искусности, предполагает свою естественную обусловленность в виде физической силы, душевной склонности, расового предрасположения, наследственности, итп., но она же предполагает и социальную обусловленность, в которой естественные

данные и задатки проявляют свою силу и свое направление, обусловленность общим уровнем культуры и социальной организации, выучки, традиции, школы, итд. Такая техника также есть своего рода формообразующая сила, и ее можно рассматривать, как средства и способы объективации себя субъектом, и, след., как *его собственное* обладание и достояние.

Хотя подобного рода аргументация прямо апеллирует к определению субъекта, как социального субъекта, все-таки вся она построена на предпосылках натуралистической методологии, и имеет в виду субъекта не как субъекта, не как специфический объект среди „естественных" объектов, а как объект одного с ними порядка. Это—видно из той роли, которую здесь играют понятия причины, условий, обусловленности, итп., которым мы всюду противопоставляем методы и приемы анализа структуры, критики, интерпретации. Мы хотим вычитать в слове, как и во всяком культурно-социальном феномене, всё, что в *нем* заключено, как средстве и знаке человеческого общения. *Для социального глаза*, с его „точки зрения", ничего субъективного, что себя не объективировало бы, просто-на-просто не существует. Никакого обеднения или ограбления субъекта здесь нет, раз, вне социальной данности и признанности, его, как субъекта, вообще и вовсе быть не может, сколько бы ни существовало объектов под названием „animal", „homo", „антропос", „психе", „этнос", итд. Для социальной точки зрения эти „вещи", как субъекты, не даны, и они для нее—не вещи („социальные вещи"), а вещи в себе („социальные вещи в себе"), и не в смысле запредельных, скрытых, окультно-трансцендентных „условий", „причин", „субстанций", ипр., а в категорическом смысле фикций и недисциплинированно измышляемых головоломок. И это наше утверждение—не своего рода социальный феноменализм, а подлинный *социальный реализм*.

Действительно, мы утверждаем, что субъект, как социальный субъект, полностью выражается, объективируется, в продуктах своего труда и творчества, и во всех, следовательно, таких актах, которые, подобным же образом, *материально* запечатлеваются, и только в силу этого признаются, узнаются, наименовываются, ипр., вообще социально существуют. „Выражение", как объективацию, надо понимать, при этом, возможно широко, так, чтобы считать ее средствами и способами не

только положительные знаки, но, напр., и отсутствие тех или иных знаков, введение одних на место других, как в порядке замещения, так и в порядке скрывания их, итд. Действительное раскрытие субъективности в объективированных субъектом „знаках" достигается из анализа их совокупности, так что каждый „отдельный" знак должен быть включен в некоторое целое, как его член. И только непрерывно восходя от низших единств к всё более высоким, мы захватываем субъекта во всё большей его полноте. Наивно было бы думать, что поэтическая субъективность поэта может быть полностью объективирована, и обратно, вскрыта в данном его произведении или в групе их. Полностью субъект-поэт объективирован лишь в полноте своего поэтического творчества, в „полном собрании сочинений", какового на практике не бывает. Но зато вне своих произведений поэт и не существует, как поэт. Замечанья в роде того, что не всё, что он мог бы сказать, им сказано, что многие его мысли, чувства, остались от нас скрытыми за его вынужденным молчанием, за его смертью, итп., имеют в виду или натуралистический подход к делу, или выходят за пределы данного субъекта, как поэта, и имеют в виду иные его социальные ипостаси. Сама смерть, раз она фигурирует в качестве аргумента, имеет разное значение применительно к антропологическому индивиду и социальному субъекту: физическая смерть первого еще не означает смерти его, как социального субъекта. Последний живет, пока не исчезло, какое бы то ни было свидетельство его творчества. Поэтому, и обратно, можно сказать, что и в каждом своем „отдельном" произведении субъект д а н целиком, но только субъект д а н н о г о момента. Субъект данного момента, и это надо подчеркнуть, значит д а н н о г о произведения. В другом произведении он—другой, и, в то же время, в обоих—один, итд., итд. Не стану повторять, а лишь напомню, что под социальным субъектом разумеется, как субъект любого момента, любого отрезка времени, и любой совокупности объективаций, так и любой структуры: личности, класа, народа, школы, направления, течения, итд.

Что же означают, теперь, „невыявленные" поэтические способности или потенции? Если под этим понимают, что некий Н. не мог напечатать своих стихов, но читал их своим друзьям, то социально он все-таки был, он поэтически объективировал себя, и, может быть, продолжает быть в близком ему

колективе. Если же это значит, что он никогда и ни в чем этой своей потенции не проявил, то это надо понимать, как сказано, в том смысле, что такого поэтического субъекта не существует и не существовало. Однако, скажут, может случиться, что его поэтическая „потенция“ всё же выразилась, но не в поэзии, а, напр., в таких-то особенностях оставленного им научного исследования, подобно тому, как в лирическом ямбе может прозвучать для нас политическое негодование автора, и тем приоткрыть в нем политическую субъективность, итп. Но это и есть переход к другой ипостаси Н. Пока мы изучали его исследование, мы имели перед собою объективированного субъекта, но, в порядке социальном, субъекта научного; нужно покинуть последнего, смотреть на поэтическую объективацию, и мы найдем другого субъекта; точно также, далее, может последовать целая вереница их—за длинным рядом объективаций разного социального порядка, разных социальных категорий: поэт, натуралист, царедворец, администратор, итд. Однако, во всех этих ипостасях — одно социальное существо, один социальный субъект? Несомненно! Но мы забыли за всеми этими рассуждениями, что ведь исходили мы от вопроса о субъективности экспресивного выражения в слове или в произведении труда и творчества вообще. Мы в них искали субъективности, и нашли, что она привносится к объективному идейному содержанию и формам названных „сообщений“, как особая субъективная окраска их, как их субъективация. А затем нашли и то, что эта субъективация и субъективность в этих же сообщениях, в некоторых их „признаках“, объективированы благодаря особому посредству, благодаря тому, что всякое осуществление требует, кроме осуществляемого, еще и осуществителя. Последний оказался sui generis социальною вещью, и то, к чему мы пришли, есть уже рассмотрение самой этой вещи, как объекта среди других объектов вообще, а не как субъекта, в качестве специфического объекта, субъективировавшего данное „сообщение“.

2 Переход, который, таким образом, нами совершен, прост и натурален. Но также должно быть просто и то, что этот переход есть переход от субъективности произведения к объективности его творца. Пока субъект чувствовался, симпатически или конгениально постигался, улавливался в экспресии слова, он был субъектом его, но лишь только он стал

предметом анализа, рассуждения, напр., он и остается предметом, объективным содержанием новой установки. Пусть мы сказали только, что в данной экспресии мы видим больше, чем мгновенную нежность поэта, мы уже говорим о социальной вещи, как объекте, о поэте, который обладает не только нежностью, не только мгновенною, итд. Мы услыхали в этой нежности искренность его любви или манеру литературной школы, или еще что,—и останавливаем на этом свой анализирующий вопрос, и мы тем самым вышли из созерцания или слушания данного произведения. Мы — в нем, пока мы его воспринимаем, как поэтическое произведение, мы вне его, когда интересуемся другою социально-культурною или природною вещью, будет ли то наша забота о завтрашнем дне, тревога о неоплаченном счете, решение математической задачи или интерес к автору только что читанной и только что отброшенной в мысли поэмы. Разница интереса к „автору" от прочих интересов может казаться более „естественной", „необходимой", но принципиально она одного порядка с самым неестественным и случайным: установка внимания перешла из сферы художественной в сферу иную. Сфера автора, как социального феномена, есть его жизнь, биография. Если переход от художественного восприятия поэмы к житейскому или научному интересу, возбуждаемому автором, есть переход от одной установки к принципиально иной, то переход от „поэта" к „человеку", от субъекта данной объективации к нему же в других его объективациях, к полному его облику, как объективного социального феномена, уже совершается в одной принципиальной установке. Также точно, в той же предметной установке, идет и дальше интерес к его среде, социальным условиям, исторической обстановке, итд.

Сколько это относится к субъекту и к тем формообразующим началам содержания, которые характеризуются натуралистически, как его способности, потенции, одаренность, талант, итп., и которые социально развиваются в его техническую сноровку, уменье, искусность, столько же всё это относится и к самому содержанию, как такому, к его материальному составу и качеству этого состава. Это содержание считается субъективным в силу того соображения, что оно есть обладание и достояние самого субъекта. Но нужно выделить два оттенка в значении понятия „обладание": первый, когда обладание озна-

чает владение чем-нибудь в смысле постоянной возможности им пользоваться, соответствующее же содержание есть объект пользования, но не как часть субъекта им владеющего, не как его орган, и тем более не как его функция, а только, как материал, и второй, когда обладание означает неотъемлемую принадлежность, некоторую органическую часть обладателя, его орган и даже функцию, часть, которая вследствие этого, становится признаком и знаком субъекта, так что без такого признака он делается ущербным или даже вовсе перестает быть собою. Когда в установлении субъективности мы говорили о знаках экспресии, как принадлежности субъекта, мы имели в виду второй оттенок; вышеприведенные соображения о субъективности состава содержания, принадлежащего субъекту, исходят из первого представления. Содержание субъекта, богатое или ограниченное, возвышенное или мещанское, шекспировское или китайское, отнюдь не есть субъективность в таком же смысле, как отношение соответствующего субъекта ко всякому содержанию, и, в первую очередь, к своему собственному владению. Здесь верно только то, что запас содержания субъекта и отношение субъекта к этому содержанию тесно связаны, именно потому, что все это содержание прошло через „голову“ субъекта. Но ясно, что сходное содержание может вызвать разное отношение к себе со стороны мещанина и рыцаря, цинка и романтика, как и разное содержание может вызвать к себе сходное отношение со стороны китайца и европейца. Запас „содержания“, его объем и качество, не есть субъективность в смысле признака и принадлежности, как характеристика субъекта, как такого, а есть характеристика его, как социального объекта, обусловленного социальным целым, зависимого от него и ограниченного им. Правильнее и осторожнее здесь было бы говорить о социально-культурной относительности самого субъекта, как специфического объекта, отнюдь не определимой по экспресии его слова, а устанавливаемой объективно на основании объективных данных биографии лица, материальной, бытовой и культурной истории колектива, итд., как уже было сказано [1]).

---

[1]) Ср. интересную попытку вскрыть проблематику биографии, как предмета науки, в недавно вышедшей книге: Г. Винокур, Биография и культура, М. 1927, изд. ГАХН.

При всяком переходе от экспресии, как объективированной субъективности, к субъекту, как „автору", в смысле самостоятельной социальной и исторической вещи, понятие субъекта настолько „обогащается" по сравнению с натуралистическими его определениями, что это должно служить предостережением против всякой попытки внести натурализм в изучение социального предмета. Тем более, что, как указывалось, социальная установка на субъекта, как предмет изучения, вызывает метаморфозу (188) и в натуралистическом подходе, превращая, в частности, психологию в социальную психологию. Дело в том, что, когда мы приходим к установлению субъекта, как объекта социального, как *социальной вещи*, то последняя тем самым *дана* нам, как дается всякий социальный феномен, т.-е. мы видим перед собою не только *посредника*, осуществляющего идею и в осуществляемом объективирующего себя, но также, как во всяком социальном феномене, реализацию некоторой идеи. Лицо субъекта выступает, как некоторого рода *репрезентант*, представитель, „иллюстрация", знак общего смыслового содержания, *слово* (в его широчайшем символическом смысле архетипа всякого социально-культурного явления) *со своим смыслом* (Цезарь — знак, „слово", символ и репрезентант цезаризма, Ленин—комунизма, итп.). Если субъект, как такое слово, в своем смысле, изучается по продуктам своего творчества, то такое изучение есть изучение объективного содержания, смысла соответствующей продукции. Экспресия его собственных слов, его творчества, здесь — не источник, так как ее определение — всецело субъективно. И мы теперь легко можем убедиться также в *многократности* субъекта, которая вытекает из того, что субъект, как репрезентант, репрезентирует и себя лично в целом, и свой клас, и свой народ, итд. И если в каждой своей ипостаси субъект обнаруживает также *отношение к людям* и вещам, то, поскольку это отражается в экспресии его творчества и поведения, объективации себя, экспресия — действительный источник изучения субъекта, как субъекта.

Когда мы переходим от художественного восприятия слова к его изучению, мы переходим в принципиально новую установку всего сознания и внимания, и это одинаково относится— к переходу *от этого восприятия к субъекту* в его объективации (вообще социальному феномену, предмету истории и социологии), и к переходу от него к объекту, в его субъективи-

рованной данности (как специфическому объекту, колективному духу, предмету социальной психологии). Иное дело—перенос внимания т. ск. внутри уже научного исследования: от объекта, как социального феномена вообще, к его субъекту. Сфера их бытия—одна, реальная действительность, но предметы—разные, разные смыслы, и разные должны быть методы изучения. Догматическая эмпирическая наука облегчает себе дело абстрактным разграничением задач двух научных областей и фактическим разделением труда исследования. В каждом поэтическом произведении мы имеем, с одной стороны, реализацию идеи и, тем самым, объективное сообщение об вещах, людях, мыслях, и, с другой стороны, объективацию в нем субъекта, отношение субъекта к сообщаемому и к самим вещам, и через это субъективацию объективного содержания сообщаемого. Однако, и эмпирическая наука сознает реальное единство обеих сторон, и отмечает преимущественный свой интерес то к той, то к другой стороне, так что она сама признает за ошибку такое трактование темы, которое в этих двух сторонах видело бы две абсолютные, а не корелятивные сферы. Тем более в критическом философском анализе, всегда имеющем в виду свой предмет в полной конкретности, было бы недопустимо утерять корелятивность и предметов, и заключенных в них проблем. Единственное средство соблюсти подлинность предмета состоит в том, что исследователь не должен отходить от своей данности, не должен переступать ее пределов. Нет ничего легче и обычнее, при анализе поэтического произведения, как перейти его пределы и начать обсуждение сообщаемого им содержания в связи с его действительными и возможными отношениями и условиями. И всякий знает силу этого соблазна и совершал грех перехода от рассмотрения художественного произведения, как такого, к взгляду на него, как на источник по истории форм общественной организации и быта организуемых колективов. Подобным же выходом за пределы поэтической данности является такое рассмотрение экспресивного содержания художественного произведения, которое ведет к изучению биографии автора и общих условий его существования, исторических и психологических. Без всякой натяжки можно уподобить такой трансцензус тому гипостазированию чистого сознания, которое создает из его критики догматическую метафизику. Соответствующие переходы можно признать закономерными лишь

при ясном сознании их цели и совершения, а следовательно и при сознательном отказе от изучения художественного произведения, как такого. И историк, напр., быта, знающий и сознающий свои цели и пути, может рассматривать поэтическое произведение, как свой источник. Равным образом, тот, кто изучает поэтические произведения, как такие, может к иному памятнику быта подойти со своими целями и методами, и трактовать его, как поэтическое слово. Требуется только, чтобы и у него было сознание своих принципиальных прав на это. В порядке предметном и методологическом это и есть установление своего предмета, поэтического слова, под регулятивным контролем неразрывности заключенной в нем кореляции.

Принципиальным основанием этого определения, и resp. самоопределения, как мы сказали, служит требование: не выходить за пределы данности. Если мы в данном поэтическом произведении или совокупности их открываем объективное содержание и конституирующие его формы, мы в своем анализе не можем выходить за их пределы, напр., к объясняющим условиям, причинам, итд., пока ясно не поставим себе цели их абстрактного изучения в интересах для данного произведения внешних и запредельных. Объективность данного произведения исчерпывается им самим. И мы остаемся в нем, как бы глубоко мы в него ни проникли, как бы богатым ни оказалось то его содержание, которое не с первого взгляда было усмотрено в данном, а лишь медленно и постепенно раскрывалось в интерпретирующем анализе самой данности, как бы, словом, ни раздвигались пределы объективного смыслового контекста данности. Принцип—раздвижение пределов, а не выход за них. Отсюда—отмечаемое у поэтов расхождение их житейского и поэтического „мировоззрения". Нужно считать в порядке вещей, что мы открываем тем большее их расхождение, чем глубже проникаем в творимое (фантазируемое) содержание данного поэта. Заостряя это положение, мы могли бы сделать заключение: там и вообще нет поэта, где творческое мировоззрение адекватно житейскому. Не может быть такого положения, при котором поэт „И звуков, и смятенья полн", а его „Душа вкушает хладный сон"... [1]).

[1]) В порядке практическом я считал бы, однако, методологически оправдываемым изучение поэтического „мировоззрения" из сравнения его с биографическим, но всё же при том ограничении, что в биографию

Всё то же целиком относится к данности экспресивного содержания. Субъективность данного поэтического слова исчерпывается им самим. Объективация субъективного идет вместе с субъективацией объективного в едином осуществлении идеи поэтичности на основе сообщения некоторого смыслового идейного содержания, конституируемого его логическими формами, преображенного, однако, под руководством поэтической идеи, в отвечающее идеалу сюжетное содержание, согласно конституирующим его, в свою очередь, поэтическим внутренним формам. Объективация субъективного требует своего материального, знакового закрепления, которое для нас дано, как внешнечувственная материальная данность, отражающая на себе „сверхчувственные" особенности и характер обратившегося к нему субъекта. Так в данности единого материального знака, слова, воплощается и конденсируется единство культурного смыслового и субъективного содержания.

То многообразие, которое скрывается, resp. раскрывается, за данным чувственно-воспринимаемым знаком, как новая, понимаемая, уразумеваемая и чуемая данность, должно иметь своего выразителя в самом же знаке, в его существе. И, прежде всего, оно обнаруживается в двоякой функции знака. Он одновременно—знак понимаемого смысла и знак чуемой субъективности, как, равным образом, и знак особого между ними отношения, аналогичного и гомологичного его же отношению к смыслу. Таким образом, мы имеем его перед собою в двух качествах. Но в то время, как в первом своем качестве он является термином отношения, через конститутивно-формирующие потенции которого мы и приходим к предметному смыслу—второму термину, во втором своем качестве тот же знак есть прямая принадлежность, признак, симптом субъективности, сопровождающей выражаемое в первом случае содержание. Отсутствие во втором случае особого конституирующего отношения [1]) заставляет решать вопрос о формах экспресивного

мы, для данной цели, входим лишь настолько, сколько нужно для установления того, что мы определили, как социальную относительность субъекта.

[1]) Речь идет о непосредственном знаке, напр., звуке слова; замена его другим условным и произвольно выбранным знаком, условно-произвольная субституция знаков (графема, напр., наместо фонемы) есть процесс—интересный в других направлениях, но нового конститутивного

субъективного содержания иначе, чем вопрос о формах объективного смысла. Внутренние формы, руководимые реализуемой в слове идеей прагматического, научного, поэтического сообщения об объективных вещах и отношениях, в этом смысле также объективны. В экспресивных же формах ничего не сообщается, в них лишь выражается, отражается, объективируется сам субъект в его субъективном отношении к сообщаемому. Внутренние формы вообще суть объективные законы и алгоритмы осуществляемого смысла, это—формы, погруженные в само культурное бытие и его изнутри организующие. В экспресивных формах отпечатлевается лишь субъективность, прагматическая, научная, поэтическая, субъекта, а не осуществляемый в культуре смысл. И лишь, когда субъект сам выступает, как репрезентант, „носитель" смысла, он приобретает общую социально-культурную значимость. Поскольку субъект не прямо сообщает о себе, как субъекте среди других объектов и субъектов, осуществляя вместе с тем некоторую культурную, научную или художественную идею, а пользуется для своего самовыражения своими естественными данными, своим естественным аппаратом движений и реакций, постольку область экспресии характеризуется нами, как область естественного выражения. Каково бы ни было социально-субъективное содержание такого выражения, по своей данности и по форме оно—естественно. Экспресия значит здесь то же, что она значит, когда мы говорим о ней, как о „выражении" естественных эмоций и реакций человека в его среде естественных раздражителей и возбудителей. Членораздельный возглас, как симптом боли, причиняемой ожогом или ушибом, ничем не отличается от прилива крови к лицу, дрожания поджилок, итп. Нет заблуждения, в основе которого не лежало бы правильного наблюдения: до сих пор натурализм, как-будто, прав. Но односторонность, так сказать парсельность, этого наблюдения—в том, что оно гипостазирует абстракцию. Конкретный социальный человек, как член общения, пользуется намеренно,—в целях общения и для выражения своего отношения к сообщаемому,—теми самыми артикулированными звуками, к которым он обращается для объективного сообщения. Он располагает даже специальным

отношения в структуру слова, как такого, не вводящий, и в нашем контексте—неинтересный.

запасом артикулированных звуков, „слов“ (?—междометий, „частиц“) для этой цели, но может воспользоваться и другими средствами естественного выражения эмоции: улыбкою, дрожью тела и голоса, самого звука, прерывистым дыханьем и звуком (заиканьем), итд. Существенно, однако, везде—социальное намерение социального субъекта, о котором в естественной экспресии не говорится. Это намерение его состоит именно в том, чтобы выразить (или скрыть) свое субъективное отношение к чему-либо. Оно само по себе имеет уже социальное значение, и возможно лишь в условиях общения [1]).

Резким различением и противопоставлением внутренних поэтических форм, в их соотносительности фантазии, как форм объективных и объектных, хотя и соответствующих лишь квазипредмету, идеалу, а действительный предмет преобразующих и отрешающих, — их противопоставлением формам экспресии, как по преимуществу, если не исключительно, эмоциональным формам субъектного выражения, могут быть вызваны некоторые возражения, порядка чисто психологического. На них следует остановиться прежде, чем итти дальше. Эти возражения могут быть сделаны в двух направлениях. Во-первых, допустим ли такой разрыв „фантазии“ и „чувства“, объединяемых Гумбольтом в одно понятие субъективности, и не затрудняется ли этим разделением анализ поэтического слова, где обе эти формы духовной деятельности запечатлеваются в едином творческом продукте, ибо фантазия движет чувством, в свою очередь, движимая им („впечатлением“ от чего-нибудь). И, во-вторых, вообще, допустимо ли такое разделение, поскольку оно приводит к ограничению понятия субъекта, хотя бы и в аспекте социальной психологии, в конце концов, как бы одною сферою эмоциональности.

Первое замечание может быть подсказано привычною в психологии генетическою точкою зрения. Последняя бывает обеспокоена всякою дистинкцией не столько из-за самой дистинкции, будто бы разделяющей неразъединимое, ибо ясно, что различение носит исключительно аналитический характер, сколько из-за затруднений, вытекающих из каждой дистинкции для самого генетического объяснения. Последнее легко себя чув-

[1]) Всем сказанным я не выражаю никакого своего отношения, ни положительного, ни отрицательного, к вопросу о генезисе языка,—ничего фактического мне о происхождении языка не известно.

ствует, пока „выводит" всякий называемый процес из одного, внутренне нерасчлененного, синкретически-единого зародышевого комка. Но чем резче проводится грань между двумя процесами, тем труднее показать их реальное родство и свести их к одному зародышевому источнику. Самое простое положение, с которым свободно оперирует неискушенное школьною мудростью обыденное мышление, становится тогда неразрешимою проблемою. Мы привыкли думать и говорить, что „фантазия движет чувствами", а „чувство приводит в движение фантазию", или в этом роде, но все эти выражения теряют для нас смысл, если мы не допускаем изначального родства между этими двумя причинно связанными факторами.

Действительные или мнимые затруднения, перед которыми оказывается генетическое объяснение, вызывают беспокойство только у него самого. Для нас важнее знать, в чем собственно смысл или бессмыслица таких выражений, как „фантазия движет чувствами", итп., в контексте нашей проблемы об источниках и признаках субъективности в продуктах фантазирующей деятельности. Факт особой чувственной насыщенности образов фантазии и их способность вызывать всевозможные чувственные „впечатления", регулируемые законами формы и эстетическими мотивами, отрицанию не подлежит. И мы говорим, поэтому, о фундирующихся на фантазии чувственных переживаниях, независимо от того, отражают они участие субъекта в творчестве или нет. Мы только настаиваем, что сами по себе акты и формы фантазии — предметны, законы осуществления фантазирующего творчества—идейны, то и другие—объективно. Чувственная же нагруженность образов нами разделяется: это есть или чувственное обволакиванье созерцаемого образа, исходящее от созерцающего в момент его созерцания, или усвоение им в данной экспресии выражения отношения творческого субъекта к своим образам и их объективному содержанию, независимо от того, расчитывал он на спонтанную силу эмоционального впечатления создаваемых образов или нет. То и другое чувственное содержание—субъективно, но при анализе экспресии поэтического слова речь идет только о втором случае.

Само чувство также может быть объектом фантазии, и в такой же мере и в таком же смысле, как и объектом представления или суждения. Но фантазирующее, как и представляющее или рассуждающее, изображение чувств остается

всегда холодным по сравнению с непосредственной, „естественной“ по форме или даже конвенциональной, экспресией по поводу изображаемого. Может быть, соответствующие выражения о движимости чувства фантазией обозначают, что в самой фантазии есть свои субъективные моменты? Во всяком случае, они—не в предметной направленности фантазии, а скорее в склонности данной фантазии (т.-е. данного социально относительного субъекта) к одним типам построения, и в отвращении к другим. Однако, о чем же идет тогда речь? Об отношении субъекта не прямо к объектам, а и к направленным на них актам, к формам и их „законам“, к направляющей идее, итд. Но тут уже мы будем настаивать на безусловном единстве каждого конкретного акта со своим предметом и его содержанием. А это значит: субъективное, что есть в названном отношении, и есть привносимое к объективному отношение субъекта,—то самое, что дает право характеризовать самое фантазию, как „здоровую“, „больную“, „пылкую“, „холодную“, „бледную“, „изысканную“, итд. Таким образом, разбираемые выражения осмысленно значат только то, что фантазией приводится в движение творческий субъект, и обратно, по поводу образов фантазии субъект выражает в экспресии себя, сама же фантазия, как такая, „движется“ лишь одним—предметом, на который она направляется, и идеей его оформления в художественное выражение соответствующего предмета.

В сказанном заключается ответ и на второе из указанных замечаний. Психологи, и при том самые авторитетные, не видели препятствий к тому, чтобы, с одной стороны, за стремлениями, чувствами, волею, просто активностью, утвердить основную характеристику субъекта, и, с другой стороны, чтобы именно чувства, волевые акты, ипр., рассматривать, как подлинные выражения субъекта [1]). Мы же и не решаем психологического вопроса о действительном составе субъекта с точки зрения отвлеченной класификации душевных переживаний, а только говорим о конкретной социальной его данности и говорим о его поведении, отношении к чему-нибудь и к кому-нибудь (Gesinnung), его настроении, итп. Чувство ли

[1]) Напр., с наибольшею решительностью у Липса: чувства—всегда я-чувства или я-переживания (Ich-Erlebnisse), симптомы, по которым мы судим, как психические процесы связаны в единство душевной жизни.

это только, стремленья ли, или еще что, пусть решает психологическое естествознание. Мы обо всем этом ничего не знаем вне социальной данности, от которой исходим и которую анализируем. Тут мы довольствуемся признаками чисто формальными: „отношение к", поведение, экспресия, жест, тон, итд. Все здесь для нас — чьи-нибудь выражения, выражения кого-нибудь, т.-е. субъекта, а этот последний, в свою очередь, исчерпывается для нас совокупностью своих экспресивных выражений. Мы называем их, опять-таки, формальными объективациями. Их нет, нет и субъекта в нашем смысле: данный продукт творчества, данный объект—не субъективирован.

Именно исходя из социальной данности, мы и могли выше (204—5) утверждать рядом с ненамеренным естественным выражением наличность его же, но как намеренного, состоящего в пользовании первым в целях общения. Естественное по форме поведение человека, его естественное отношение к вещам, людям и идеям, и естественная на них реакция, рассматриваются теперь нами, прежде всего, как такие, которые выполняются в атмосфере социальности, в условиях общения. Здесь естественные формы заполняются социальной материей, конкретизуются, и в своем социализованном качестве входят в состав культурного образования, как особый член в структуре последнего. Когда этим культурным образованием является слово, которое своей внешней конструкцией оформляет объективное сообщение, говорящий начинает пользоваться самой этой конструкцией, вольно и невольно, как средством, с помощью которого отражается его субъективность в передаче сообщаемого. Содержание субъективности остается социальным, но естественные формы экспресии переходят в формы социально-конвенциональные, влияя уже непосредственно на развитие таких внешних форм, как синтаксические. Последние, даже в своей упорядочивающей функции, не являются простым и точным отображением внутренних логических форм, а в самых причудливых возможностях говорят о характере субъекта и его вмешательства в дело передачи сообщения и построения речи по той или иной руководящей идее. Когда в порядке развития самого языка и его синтаксических и стилистических форм, как в их упорядочивающей строгости, так и в их экспресивной насыщенности, говорящий обнаруживает, между прочими своими

чувствами и отношениями, также любовь к самому языку и его формам, наслаждение ими, вообще заинтересованное отношение к ним, желание ими самими произвольно впечатление, и с этой целью присматривается к их силе, качеству, он и это свое отношение к ним отражает в них. А ставя это своею целью, он приобретает соответствующее уменье и искусство в пользовании ими, вырабатывает нового рода технику такого пользования словом, и изучает его, или интуитивно различает в нем, разного качества структурные моменты и члены по их способности быть носителями экспресивного груза. Само слово в его формах является предметом не только изучения, но и фантазирующего преобразования его форм. Сколько фантазия направляется и на конвенциональные формы экспресии, последние, в ее преобразованиях и в отрешении от действительного их бытия, сами возводятся на высшую ступень *символически-условной* формы. Создается та игра стилем, когда *стилизованные* экспресивные формы уже перестают быть отображением действительной субъективности, становятся квази-экспресивными, и вступают, как символизованные знаки, в отношение с прочим содержимым слова, аналогичное вообще отношению внешнего знака к его смысловому содержанию. Под стилизованными символическими формами экспресия субъекта становится квази-субъектом, создается формообразующее отношение, которое и может быть названо *экспресивною внутреннею формою* или формою слова *фигуральною*.

Это заключение требует некоторого дополнительного разъяснения, повод к которому дает возникающий иногда вопрос: подлинно ли экспресия всегда есть выражение субъективности, нет ли в ней своего объективного содержания и его законов и форм? С точки зрения психологического естествознания этот вопрос лишен смысла. Разумеется, законы, которым подчинен субъект, *как объект* психологии, естественны и объективны. Но, в нашем контексте, мы, признавая *естественный* характер экспресии и ее форм, но допуская намеренность в пользовании ими, спрашиваем о социальной их значимости. Тут для нас субъект есть именно субъект, а предмет—*его* объективное творчество, продукт его, как своего рода „вещь“ с субъективными отпечатками творца, автора, напр. Следовательно, указанный вопрос имеет тут только тот смысл, что присущие данной вещи экспресивные черты или целиком суть черты

продуцирующего субъекта, или только частично, а в остальном они сами по себе могут быть более или менее выразительны, более или менее экспресивны. Так, говорят об экспресии самого языка, в котором одни выражения более экспресивны, чем другие. „Уйдите!“, „пошел прочь!“, „прочь!“, „к чорту!“, итд. — разница не только в оттенках смысла, но и в степени и в характере экспресии.

По этому поводу надо заметить, прежде всего, что установление соответствующих оттенков экспресии получается только из сравнения эмпирических данных языков и данных выражений. О выразительности слов и выражений самих по себе, отвлеченно, говорить не приходится. И если соответствующие разницы и различия не характеризуют субъекта-лица, имрека, то они непременно говорят о субъекте колективном, народе, исторической эпохе, сословии, класе, професии, итд., и об их субъективном лике. Только потому, что данная экспресия повторяется данным лицом, в данную историческую эпоху, в данном языке, она, в своем субъективном содержании, приобретает некоторую объективируемую устойчивость, так что возникает впечатление объективного постоянства ее, как бы присущего экспресивности самого слова. Всегда можно найти сколько-угодно примеров, илюстрирующих зависимость экспресивности слова от среды, эпохи, ипр. На собственном опыте всякий знает, как меняется экспресивная роль слова для него самого, и как это происходит в зависимости от перемен, исходящих именно от колективного субъекта, как выразителя экспресии. Сравните экспресию слов „господин“, „гражданин“, „товарищ“—в разных общественных слоях, в разные периоды революции и до нее!

Итак, илюзия самоэкспресивности слов покоится на относительной устойчивости ее, пропстекающей из относительной устойчивости соответствующего субъекта. Есть еще одно, осложняющее вопрос, обстоятельство. Постоянство экспресии, которую по форме мы признаем всё же естественным знаком субъективного состояния, в самой естественности своей содержит условие повторения и устойчивости. Какое социальное значение может иметь такое постоянство?—Наблюдая его, мы начинаем говорить о известного рода привычке, манере, характере,—не об методе и алгоритме, однако, именно по причине „естественной“ формы таких повторений. Когда мы замечаем

более или менее сознательное подражание данному субъекту со стороны других, мы говорим о школе, влиянии, жанре, направлении. Наконец, в аналогичных же случаях, главным образом, применительно к сложным явлениям культуры, мы говорим о стиле. Речь идет, в зависимости от типа субъекта,—лица, групы, эпохи,—о стиле писателя, школы, направления, эпохи. И далее, мы можем различать самые стили по степени и характеру их экспресивности, и даже более того, мы отожествляем экспресивность в ее повторяющихся формах со стилем. Встает, в измененном виде, прежний вопрос: не существует ли экспресивности, присущей самому стилю, как такому, как объективно эволюционирующему социальному явлению, следовательно, экспресивности, источник которой лежит не в субъекте, хотя бы и колективном.

Для правильного ответа на этот вопрос надо, прежде всего, анализировать смысл и точность названного отожествления. Оно было бы оправдано, если бы можно было показать, что все постоянства, определяющие стиль, суть постоянства самой экспресии. А затем, если бы оказалось, что среди этих постоянств экспресии есть постоянства не от субъективности, мы могли бы дать утвердительный ответ на возникший вопрос. На деле, мы открываем иное. Рядом с постоянствами экспресии, по форме естественными, стиль характеризуется некоторыми постоянствами условными, конвенциональными. Когда мы говорим о звуковых формах слова, мы имеем дело с такими же естественными формами, но когда они начинают нами рассматриваться, как фонемы, означающие, напр., конвенционально установленные синтаксические отношения, мы от „естественного“ порядка переходим в собственно языковый (лингвистический), т.-е. в порядок социально-культурный. В точности то же надо сказать о стиле. Некоторые „естественные“ отношения, самые простые, геометрические, временные, гармонические, симетрические, напр., упорядочения, становятся социально значащими объективными условиями и признаками стиля. Они, конечно, не субъективны, но зато они и не экспресивны; экспресивность все-таки остается уделом субъективности; стиль в целом не исчерпывается признаками экспресивности.

Сложный вопрос об идеальных „нормах“ упорядочения и управления в синтаксических образованиях, в композиции картины или музыкального произведения, и здесь возникает в таком

же виде. Т.-е., если есть „правила" соответствующего „упорядочения", имеющие не только конвенциональное значение, но и идеальное, мы получаем право говорить о своего рода стилистической онтологии слова, рисунка, итд.,—в том же смысле, в каком мы говорили об онтологических синтаксических формах. Совершенно ясно только то, что признание объективности таких форм не есть признание объективности экспресии самого стиля, ибо никакой экспресии в *этих* формах быть не может. Это формы—чистой, внешне созерцаемой, *композиции* и конструкции. Они легче всего замечаются и схватываются, и легче всего становятся предметом сознательного задания, воспроизведения, подражания.

Есть особый род изображения в области культурного, в частности художественного, творчества, который мы называли (209) *стилизацией*, и рассмотрение смысла которого дает возможность еще с новой стороны и глубже проникнуть в проблему, над которою мы стоим. Стилизация тем отличается от простой подделки, что она не претендует на эмпирическую подлинность вещи и ее временно́го контекста. Стилизация есть процес *двойного* сознания, двойственность которого не скрывается, а тонко подчеркивается по мотивам специального эстетического интереса и художественного задания [1]). Через наличие такой двойственности соответствующее художественное произведение является носителем, помимо всех прочих, еще одного *нового отношения*: „подражания" к образцу. Не скрываемое, а хотя бы умеренно подчеркиваемое, это отношение требует особого внимания и усложняет структуру художественного предмета. Простое копирование, как и подделка, стремятся к эмпирическому и историческому правдоподобию, тогда как искусная стилизация играет историческим правдоподобием, но декларирует законы и методы своего особого правдоподобия — *идеального*. Начиная с момента выбора сюжета и до последнего момента завершения творческой работы, стилизующая фантазия действует спонтанно, однако, каждый шаг здесь есть *вместе* и рефлексия, раскрывающая *формальные* и идеальные законы, методы, внутренние формы, напр., усвоенного образца. Поскольку такие, направляю-

[1]) Следует различать здесь *стилизацию* в общем смысле, которая имеет место во всяком художественном произведении, как прямое соблюдение стиля, и „стилизацию" в узком смысле, как литературный прием „подражания".

щие стилизацию, формально-идеальные особенности „образца" не ограничиваются только сферою композиционно-оптических, упорядочивающих форм, а включают в себя также конвенциональные отношения экспресивных форм, постольку содержание понятия экспресивности безмерно увеличивается и осложняется.

Уже простая конвенциональность сообщает естественной экспресии социальную значимость. Экспресивный знак становится социальною вещью и приобретает свое историческое, действительное и возможное, бытие. Eo ipso он сам по себе теперь, как социальная вещь, может стать предметом фантазии, а также и идеей. Через фантазию он переносится в сферу отрешенности, а через идеацию—в сферу отношений, реализация которых может быть сколь-угодно богатой, но она необходимо преобразует самый материал свой. Эмоциональное содержание конденсируется в смыслы и смысловые контексты, понимаемые, интерпретируемые, мыслимые нами лишь в своей системе знаков. Последние, независимо от их генезиса и отношения к естественному „образу", являются подлинными знаками уже смыслов, — хотя и лежащих в формальной сфере самих экспресивных структур, — т.-е. подлинными символами экспресивной содержательности. Самое простое или целесообразно упрощенное и схематизированное символическое обозначение дает нам возможность видеть за ним конкретную сложность живой, „естественной" экспресивности действительных эмоций, волнений, человеческих взаимоотношений, итд. Очевидно, что всякая символизация экспресивного комплекса,—жеста, мимики, выражения эмоции,—устанавливается и постигается нами не через посредство симпатического понимания, вчувствования, итп., а теми же средствами и методами, какими устанавливается всякая логическая и поэтическая символизация.

Таким образом, получаются свои методы, свои алгоритмы, свои „тропы", в образовании экспресивных символов. Стилизуемый стиль сам здесь, даже в своем экспресивном содержании, становится осуществлением идеи. Тут в особенности могут иметь место те фигуральные формы, о которых мы говорили, как о внутренних экспресивных формах, по аналогии с внутренними поэтическими формами; их можно в таком же смысле назвать квази-поэтическими, в каком поэтические внутренние формы мы называем квази-логическими. Для всех имеется, однако, одна общая формальная основа, модифици-

рующаяся, как по своей материи, так и по качеству соответствующего творческого акта—мышления, фантазии, эмоционального регулятора.

Таким образом, точное указание места экспресивных форм само собою решает вопрос об отношении их к другим формам и об их собственной роли среди последних. По отношению к внутренним формам экспресивные формы остались *внешними*. С точки непосредственного восприятия слова они, значит, *даются*, как своего рода формы звуковых сочетаний—тона, его силы и качества, тембра, акцента, итд.; и тут их можно рассматривать в идеальной установке, как своего рода Gestaltqualitäten. В лингвистической терминологии они оказались связанными с формами синтаксическими, и из этого одного ясно, что о них можно говорить не только эмпирически, но и идеально. Наконец, с точки зрения взаимного отношения внутренних форм и экспресивных, как было раньше указано, они могут непосредственно налегать на формы логические, на них фундироваться, и в таком случае мы имеем дело с *риторическою* речью, или *между ними* и логическими формами прослаиваются формы поэтические, и возникает подлинно поэтическое *двоеречие* (см. выше, 183), завлекающее не только сложностью построения самого отрешающего изображения и его отношения к передаваемому смыслу, но также силою и своеобразием производимого таким построением *впечатления*. Последнее достигает величайшей силы и власти, когда структура слова доходит до последней степени сложности, допуская также внутри экспресивно-субъективной надстройки отношение, аналогичное внутренней поэтической форме, способное быть фундаментом новых отрешающих преобразований и, след., источником и средством новых завораживающих нас впечатлений.

Особая роль *эстетического наслаждения* в последнем случае сказывается в том, что здесь оно—не только *сопровождающий* художественное творчество *чувственный тон*, но также именно *регулятор*. Поэтическая форма переживается эстетически, потому что она—поэтическая форма, стиль — еще и по особому эстетическому заданию. Это есть эстетическое *второй ступени*, отличное от простого эстетического удовольствия, доставляемого внешней, поверхностной оформленностью простых акустических или оптических дат.— Здесь не место входить в анализ роли и значения экспресивной

символики. Чтобы намекнуть только на кардинальное значение соответствующего анализа для современного искусствоведения, укажу лишь сферу вопросов, без этого анализа неразрешимых. Так, ничем не кончившийся, когда-то титанический спор между „красотою“ и „характерностью“ за право на центральное место в эстетике может быть разрешен только в результате названного анализа. Современные дискусии, начатые в сущности уже во времена романтизма, о противопоставлении древнего и современного, класического и романтического, аполинического и дионисического, класицизма и бароко или и готики, линеарного и живописного, ипр., ипр.,—необходимо отвлеченны и приблизительны, пока не вскрыто взаимное отношение форм внутренних поэтических и экспресивно-символических. Сознание и понимание того, что современные формы моральной пропаганды,—р о м а н,—не суть формы п о э т и ч е с к о г о творчества, а суть чисто риторические композиции, повидимому, едва только возникает, и сразу наталкивается на трудно преодолимое препятствие в виде всеобщего признания всё же за романом некоторой эстетической значимости. Анализ роли в романе экспресивной символики, регулирующей его морально-риторическую патетику, должен осветить и эту проблему. Наконец, вся область искусствознания, ведающая т е а т р, как не просто исполнительское, но самостоятельное сценическое искусство, искусство по преимуществу экспресивное, должна получить радикально новое освещение в свете изучения отношения естественной экспресивности и ее условного символического оформления[1]).

Мы исходили из факта, что „впечатление“, производимое художественным произведением, составляется из спонтанной эмоциональной силы словесного (или иного) образа, созданного по объективным законам форм, и из субъективизации этой так созданной объективной „вещи“, субъективизации, исчерпывающей субъективность художественного произведения. Экспресивные формы, как формы последней, были признаны нами формами первоначально естественными и в то же время субъективными, т.-е. передающими субъекта в социальном смысле этого термина. Но из только что сказанного вытекает, что художественная символизация экспресивных форм лишает их,

[1]) Ср. некоторые предварительные указания в моей статье: „Театр как искусство“, особ. гл. V, стр. 48 сл. („Мастерство театра“, № 1, 1922 г.).

во всяком случае, их свойств естественности. Уже простая конвенциональность, вносимая художником в их изображение, есть их социализация. Возникает вопрос: не лишаются ли эти формы вместе с тем и другой своей черты—творческой субъективности? Пусть язык, как социальная вещь, не только — осуществление идеи, но и объективация социального субъекта, и пусть языковая экспресия имеет своего индивидуального или колективного субъекта, — не мало ли этого? Вед. существенно, что в нашем чувстве субъекта, „скрытого" за своей экспресией, в истолковании этого чувства, мы всё же под творческим субъектом понимаем не отвлеченный или „средний", безличный объект индивидуальной и социальной психологии, ак, равным образом, и не объект биографии, а живой, hic et nunc данный творческий лик, в данном исчерпывающийся. Как же, напр., возможно его представить, мыслить, постигнуть его действительность, или на него направить фантазию, перенести в мир отрешенности, итд., не обезличивая его, — не ставя на место Пушкина поэта „вообще" или человека „вообще" александро-николаевской эпохи, на место Новалиса—поэта-романтика „вообще" или же больного „вообще" юношу больной среды, на место натурализма — художественное направление „вообще" или симптом „вообще" буржуазной идеологии, итд.? Стиль — выражение лица, но стилизация? Где в ней — persona creans?

Если мы захотим разрешить все эти и подобные вопросы, пользуясь обычною естественно-научною логикою, мы получим много интересных сведений о природе человека и общества, но одного не получим—той субъективности, которая так непосредственно говорит нам о себе в самом художественном произведении и им самим. Риторический призыв „познай самого себя" иногда выдается за подлинно философский путь решения этого трудного вопроса. Пока философия не поднималась выше морали, такой призыв еще можно было считать философским. Его рассудочно-отвлеченная природа делает его, по меньшей мере, скучным. А лучшее доказательство его практической бесполезности—современная форма морализирования. Роман пытается заменить пустую рассудочность прежней морали мнимо-поэтическими средствами, но в деле „познания" и раскрытия подлинной субъективности он так же немощен, как и естествознание, и голая рассудочность Сократа или гностиков, и всякое отвлеченное „сердцеведение". Между тем из всего выше-

сказанного явствует, что если не решение вопроса, то исходный пункт для него должен быть определен там, где субъективность сама нам говорит о себе и непосредственно нами чуется, т.-е. в области самого художественного творчества. Непосредственное чувство, „сердце“, „конгениальность“, „сопереживание“, и много других,—не столько терминов, сколько все еще образов,—пытаются запечатлеть характер соответствующего непосредственного знания. Живое участие в самом творческом акте, активное, а не инертное восприятие продукта этого творчества, вживание в него,—всё это делает нас самих, созерцающих, наслаждающихся и вопрошающих о субъекте, его участниками и соучастниками. Его субъективность переливает через всякие грани, которые может поставить познанию рассудок, и если иногда субъекта называют „Я“, то не в том ли весь чувствуемый смысл его „самости“, что она растворяется в неограниченном „Мы“? Чувственное единство, о котором шла речь, расплывается в единство чувства, поведения, „отношения к“ людям, вещам и идеям. Самосознание сознает свое „само“ и через это одно оно уже не „естественный“ факт, а факт культурно-социальный, а перед лицом художественного произведения, след., факт художественного культурного бытия и сознания. Сознание себя, как культурно-социальной общности,—не то же, что отвлеченная особь. И путь вхождения этого себя в общность, признание себя собою, и познание себя, как себя, как соучастника и сопричастника, тут же в этой общности, в объективированной форме художественного произведения, дышащей субъективности,—приводит к ней не только, как к объекту среди объектов, но и как к подлинному субъекту. Поэтому, если нет других путей к познанию этой субъективности, то они должны быть найдены в самом же искусстве, внутри его. Смысл сказанного здесь и связанных с этим проблем до конца раскрывается лишь вместе с признанием положения, что само искусство есть вид знания, положения, принципиальное оправдание которого исходит из изначальной возможности понимать искусство в целом, как своего рода прикладную философию. Однако, это — тема, которая уже выводит за пределы, намеченные для настоящей работы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

11 — Темы Гумбольта.

30 — Общие темы в анализе языка.

52 — Постановка вопроса о внутренней форме.

68 — Внешние формы слова.

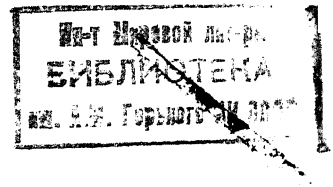
93 — Формы предметные и логические.

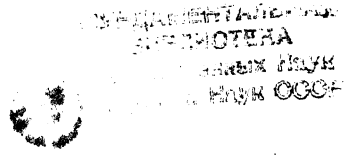
117 — Некоторые выводы из определения внутренней формы.

140 — Внутренняя поэтическая форма.

168 — Место и определение субъекта.

193 — Субъективность и формы экспресии.


Ин-т Языкознания
БИБЛИОТЕКА
им. А.М. Горького


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
БИБЛИОТЕКА
ных наук
наук СССР